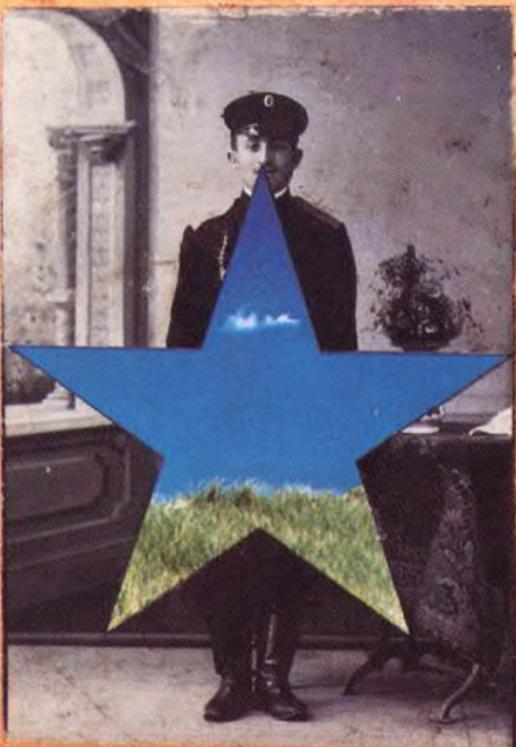


ДАВИД МАРКИШ

ВЪ
ПАМЯТЬ
ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ.



ПОЛЮШКО-ПОЛЕ



ДАВИД МАРКИШ

ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

עיריית חיפה/מנהל חת"ר
באגף לתרבות השכלה ואמנות
המח' לספריות, הספרייה בקניון שפרינצק
מס' 1466/1

1466/1



LIBERTY PUBLISHING HOUSE

NEW YORK • 1989

DAVID MARKISH. POLYUSHKO-POLYE

PUBLISHER ILYA I. LEVKOV

Liberty Publishing House, Inc.

475 Fifth Ave, Suite 511

New York, NY 10017-6220

Tel. (212) 213-2126

**Copyright © for the Russian edition by
Liberty Publishing House, Inc. 1989**

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

Cover design by VAGRICH BAKHCHANYAN

**Printed in the United States of America
R.R.Donnelley & Sons Co.**

**Computerized Typesetting by Gessen Books Electronics,
Newton, MA**

OCR Давид Титиевский, октябрь 2019 г., Хайфа

**Library of Congress Cataloging
in Publication Data**

ISBN: soft 0-914481-51-7

cloth 0-914481-52-5

ПАМЯТИ ЮРИЯ МАНДРИКА,
ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОСВЯЩАЕТСЯ

עיריית חיפה/מנהל חת"ר
באגף לתרבות השכלה ואמנות
המח' לספריות הספרייה בק"מ, שפרינצק
70894/2 מס'

1466/1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

1. Городок Веселó (1)	7
2. Хромой мальчик	20
3. Гуляйполе	34
4. Мастер	47
5. Черт Задов	54
6. Бог создал Крым	68
7. Часовня, мельница	77
8. Синий духан	95
9. Егорка	112

Часть вторая

10. Лбы в небесах (1)	124
11. Вопрос для каждого	140
12. Отступление о попугае Котике	149
13. Смех в Екатеринославе	164
14. Лбы в небесах (2)	176
15. Облава	184
16. Городок Веселó (2)	196
17. На последнем берегу	205
18. За Днестром	216

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фигура Нестора Ивановича Махно — одного из героев этого романа — по сей день наряжена в Советском Союзе в нелепую одежду шута, погромщика, разбойника с большой дороги. Нынешнее поколение ничего — или почти ничего — не знает о том, кем был в действительности этот удивительный лидер анархо-коммунистов, кто входил в его окружение, какова его роль в разгроме Деникина. Никогда ни официальная советская история, ныне пересматриваемая, ни многотомная „лениниана” не обмолвились ни словом о встрече Махно с Лениным. Мало кому известно, что „знаменитый” атаман Григорьев — антисемит и погромщик — был обезглавлен (по другим данным — застрелен) лично Махно... Однако память о Несторе Махно жива среди украинцев и русских; имя его — с известными оговорками — можно поставить в один ряд с Разиным и Пугачевым...

Работая над романом, я не ставил своей целью воссоздание дневниковой хронологии событий гражданской войны на Украине. На фоне этой чудовищной войны я намеревался проследить участие евреев в событиях 1918-1921 годов, их сотрудничество с различными политическими и военными силами района. И основные эпизоды романа построены на документальной основе.

Сегодня в Советском Союзе начинают понемногу приоткрывать архивы — этот ящик Пандоры, из которого гласность черпает свое „я”. Хочется верить, что в ходе этого процесса и личность Нестора Махно будет отмыта от пропагандистской грязи.

Давид Маркиш

„... Настроение почти неизбежное у порядочных людей, руководящих гражданской войною: сознание своего бессилия, фаталистическое отношение к злу, безответное от всего отвращение и тяжкая душевная усталость”.

М. АЛДАНОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ГОРОДОК ВЕСЕЛО́ (1)

Красные пришли в начале ночи. Городок был безлюден, как будто рубанком прошлись по его улицам и переулкам. В теплой тишине побрехивали собаки и по окраинам постреливали: расстреливали кого-то или так, стреляли по ходу движения вступавших в город цепей.

С какой стороны света вступали захватчики, пешие они или конные и под чьим началом, — доподлинно не было известно никому; заложив окна тяжелыми, как столешницы, ставнями, жители сидели по домам. С начала гражданской войны жителей ubyло на добрую треть: кто ушел воевать, кого случайно убило, а иные уехали невесть куда и не воротились восвояси. Остались в городке евреи, не сделавшие еще свой выбор и жившие по привычке, да горсть хохлов, да пригоршня русских. Городок жил вполсилы, как бы не выпрастываясь из-под одеяла — от смены власти до смены власти, от наводнения до землетрясения. Но рождались дети, как в былые времена, и простые слова любви были слышны в запущенных вишневых садах.

Тяжкие времена выпали на долю некогда благополучного городка Веселó, тяжче ему пришлось, чем соседним Большому и Малому Лабазам, Златополью или дальним Зверятчам. Кто бы ни пришел сюда по-хозяйски — белые, красные или зеленые, атаманцы или просто разбойники с большой дороги, — все они, озверевшие и обовшивевшие, ухмылялись бедово: где уж гулять и веселиться, как не в

Весело! Сам Бог велел пить здесь вино и щупать нежное девичье мясо. И весельчаны почему-то казались незванным гостям если и не военными врагами, то уж никак не ровней. Дойной коровой на зеленом острове казались они им, придерживаемой до поры убойной скотинкой, такой ласковой. В конце концов можно ласкать корову, а потом съесть ее.

Каждый третий весельчанин со времен незапамятных назывался — Веселовский. То ли от царя Тишайшего Алексея поступило такое распоряжение, то ли от Великого Петра — этого Веселовские точно не знали. Но было им приятно, что царь подумал об их городенке и о них самих, и стали неблагозвучные Мошки, Срули и Лейбы — Веселовскими. А в соседних местечках проживали по преимуществу Карпы, Караси и Голуби.

Иона Лазаревич Веселовский жил в просторном кирпичном доме на Главной улице городка. Главная улица была, собственно говоря, улицей Преображенской, как и Иона Лазаревич был, несомненно, Ионой Элизэзеровичем. Но упоминание христианского Преображения неприятно действовало на нервы весельчанским евреям, а неудобопроизносимое „Элизэзерович” звучало несовременно и отчасти даже дремуче, в то время как нейтральное „Лазаревич” удовлетворяло всех: и евреев, и неевреев, с которыми уважаемый Иона Веселовский чуть ли не каждый день имел дело в силу занимаемого положения.

И когда спрашивал какой-нибудь занемогший человек: „Аптекарь Веселовский где живет?” — отвечали ему: „Ёна Лазаревич? Да на Главной, в кирпичном доме”.

Красные пришли в начале ночи. В кирпичном доме на Главной улице, поздней против обычного, семья пила чай в верхней гостиной, за овальным столом. В еврейском доме овальный стол взамен прямоугольного был нововведением, современной штучкой, отвечающей требованиям времени: Ионе Лазаревичу, главе семьи, теперь никак невозможно было *восседать* во главе овального стола, а только *сидеть*, упиравшись животом в полукруглый ореховый край, на новомодном стуле с высокой спинкой. Вдобавок к этому, веяние нового времени ощущалось и в том, что полированный овал не только объединял, но и уравнивал застольников, и не было за ним у хозяина дома никакого особого положения:

никакие углы не отгораживали, не обособливали его от домочадцев. Действительно, какая чушь и отрыжка варварской старины! В мире, где все люди логически равны, никто не может быть равней другого. И овальный ореховый стол, пусть и в небольшой степени, служил осуществлению равенства.

Но служил он и насыщению, и чаепитию. В сверкающей поверхности столешницы отражался ведерный серебряный самовар, привезенный когда-то Ионой Лазаревичем из Киева, хрустальные вазочки с вишневым, кизилковым и клубничным вареньем, позолоченная плетенка с маковыми коржами и китайского фарфора баночка с целебным гречишным медом. На баночке изображен был в размытых серых тонах голоногий китаец с удочкой и садком, на берегу потока.

Иона Лазаревич сидел за столом, его жена Фрума Борисовна и их дети: всего шестеро. И кухарка Женюра входила и выходила не задерживаясь.

За столом, рассчитанным на дюжину мест, было просторно; локти сидящих не соприкасались, и не встречались колени и плечи. Каждый сидел сам по себе, со своим стаканом в руке, и каждый говорил свое. И голоса детей были не родные, а чужие.

— Нет, папа, надо это решать, — сказал Рувим, старший.
— В конце концов, сидеть вот так — просто безответственно.

Иона Лазаревич пожал круглыми плечами и потянулся за медом. Каждый раз, когда в городке сменялась власть, Рувим заводил такой разговор.

— Ну, может, они мимо пройдут, — сказал Иона Лазаревич. — Проскочат.

— Кто они-то? — возя серебряной ложечкой в стакане, спросил Боря. — Откуда ты знаешь, что это красные? Может, махновцы? — Он быстро взглянул на Семена.

— Махновцы — нет, — сказал Семен, средний. — Махновцы на съезде.

— Съезд? — Иона Лазаревич насмешливо выгнул брови.
— У махновцев?

— Ну, не съезд, — зло бросил Семен. — Собрание. Какая разница?

— Есть разница! — вместо отца ответил Рувим. — Твой Махно о Марксе даже никогда не слышал! Тоже мне, Стенька

Разин... И ты еще смеешь говорить, что он настоящий революционер!

— Ну, конечно, — насутился Семен, — для тебя только Троцкий революционер, этот демагог.

— А я о Марксе слышал, — примирительно сказал Иона Лазаревич. — Ну и что?

— Все они одинаковые, — подливая себе чая в стакан, сказала Роза. — Хоть бы скорей все это кончилось.

Иона Лазаревич, втайне сочувствовавший Бунду, поглядел на дочь и согласно покачал головой.

— Они — одинаковые, — глядя твердо, заметил Боря, и непонятно было, кого он имеет в виду — братьев или красных с Махно.

— Что ты имеешь в виду? — откинувшись назад, на неудобную спинку стула, спросил Рувим. — Что ты вообще знаешь?

Но Боря не успел объяснить старшему брату, что он имеет в виду.

— Тихо, дети! — прислушиваясь, вскрикнула Фрума Борисовна.

Стрельба приближалась, стреляли уже где-то в районе рынка. Иона Лазаревич флегматично протянул руку к серебряному колокольчику, стоящему на столе рядом с его стаканом. В тишине высокий и тонкий звук колокольчика прозвучал удивительно красиво. И Женюра, вытирая руки о передник, вошла в гостиную на зов хозяина.

— Женюра, как всегда, — вынимая стакан из серебряного подстаканника и передавая его кухарке, сказал Иона Лазаревич. Забрав подол передника в левую руку, Женюра соорудила нечто вроде мешка, и подстаканник мягко лег на его дно. За первым последовали подстаканники Фрумы Борисовны и детей, затем — позолоченная плетенка, коржи из которой были высыпаны на салфетку. Погромыхая содержимым передника, Женюра без понуканий пошла к застекленной горке в углу гостиной и под молчаливыми взглядами хозяев быстро собрала серебро и оттуда: старинные кубки для субботнего вина, солонку в форме лебедя, круглую сахарницу, блюдо для халы и ханукальный семи-свечник. Передник низко провис, теперь кухарка держала его обеими руками.

— Спускайся, Женюра, — сказала Фрума Борисовна. — Смотри, не споткнись.

Толкнув плечом дверь, кухарка спустилась по лестнице на первый этаж, а потом в подвал, в погреб. Там, под бочонком с мочеными яблоками, устроен был тайник, разные ценные и памятные вещицы хранились в том тайнике. Туда, в земляную нору, Женюра высыпала содержимое своего передника. Она высыпала бережно, согнувшись в поясе, упираясь тяжелым бабьим задом в сдвинутый со своего места бочонок. Черные земляные стенки тайника невозвратно поглощали, гасили серебряные всхлипы металла. Разравнивая сложенное, Женюра сбегала наверх и притащила самовар.

Без высокого самовара и золоченой плетенки, с коржами, небрежно наваленными на мятую салфетку, и голыми стаканами без ложек овалный полированный стол орехового дерева стал похож на общипанного павлина.

— А колокольчик! — спохватилась Фрума Борисовна. — Колокольчик забыли!

— Ах да, — сказал Иона Лазаревич и сунул серебряный колокольчик в карман пиджака.

Из павлиньего хвоста выдернули последнее перо.

Вещественное доказательство наступившего нового времени — ореховый стол появился в доме Веселовских не вчера и не третьего дня. Новое время накатило на город Весело задолго до гражданской войны и революции — в самом начале второго десятилетия века, за год-другой до того, как ударили пушки на русском Западном фронте первой мировой войны. Иона Веселовский встретил новое время если и не с распахнутыми объятиями, то вполне благожелательно. И за выписанный из Варшавы безугольный стол уселись уже не Иона Элизэзерович с Фрумой Боруховной — но Фрума Борисовна и Иона Лазаревич. Элизэзерович с Боруховной здесь были просто не к месту.

Менялись имена, декорации — разное менялось и многое. Богатый и образованный фармацевт Иона Веселовский узнал в один прекрасный день, что он — интеллигент. Услышал он эту приятную новость от приезжего социал-революционера Зусмана, явившегося из Киева с рекомендательным письмом от доктора Эпштейна и попросившегося

переночевать. От самого этого слова — „интеллигент” — попахивало антиправительственным бунтом и социал-революционной стрельбой, и Иона Лазаревич был приятно взволнован: бунтовать и стрелять он не собирался, но считал, что пора уже матушке-России скинуть царя и установить какую-нибудь справедливую республику, где евреи получили бы равные права с другими людьми. Однако когда тот же осведомленный Зусман определил дочку шамеса Фруму Борисовну как интеллигентную женщину, взволнованный Веселовский испытал укол ревности. Но — смолчал: новое время, как видно, несло с собою немало неожиданностей... Прощаясь наутро, Зусман попросил денег „для нужд революции”. Веселовский дал.

Вскоре после начала первой мировой войны вернулся из Лондона старший сын Рувим — все такой же близорукий, нескладный и суматошный. Родители были не в восторге: вместо того чтобы пересидеть войну в Англии, в университете, сын, не спросясь, пожаловал в прифронтовое Весело. Пропали два года ученья горному делу, да и денежки пропали. Но Рувим таинственно шурился, размахивал руками и бубнил, что учеба никуда не уйдет, а судьба России решается. Иона Лазаревич полагал, что судьба России как-нибудь решится и без участия Рувима, но сын обвинял отца в политической близорукости и сыпал цитатами из Маркса, преимущественно по-английски. Фрума Борисовна вздыхала: даст Бог, все обойдется, зато деточка выучился иностранному языку. А Рувим распаковал заграничный сундук с книгами и, лежа с папиросой в саду, в шезлонге, почитывал целыми днями. Домашним он книг своих не давал, с братьями прочитанным не делился, только ворчливо и свысока спорил иногда с Семеном, средним, о социальной справедливости. Боря к этим спорам не допускался по молодости лет, старшая из всех детей Роза — по скудости ума и совершенному нежеланию зорко всматриваться в будущее.

К осени все справедливые книжки были прочитаны, Рувим перебрался из сада в свою комнату и взялся за изучение современного искусства. Иона Лазаревич только вздыхал, оплачивая счета из киевского книжного магазина: новое увлечение сына требовало средств, и немалых. Потом, как результат изучения, по почте стали приходиться репродукции

картин, некоторые в рамках. Желая угодить сыну, Иона Лазаревич купил по случаю писанную масляными красками картину: старый еврей с замечательно нарисованной бородой трубит в шофар. Женюра вколотила гвоздь, картина заняла свое место на стене в гостиной. За обедом Рувим издали и вблизи придиричиво исследовал покупку и покривил губы.

— Не нравится? — с тенью обиды в голосе спросил Иона Лазаревич. — Что-нибудь не так?

— Ты только посмотри, какая борода! — посоветовала Фрума Борисовна. — Каждый волосок можно сосчитать. И глаза как живые.

— Это очень важно, — снисходительно усмехнулся Рувим. — Но мне это не нравится.

Через несколько дней на еврейского старика с шофаром глядела с противоположной стены Дева Мария с маленьким Иисусом на руках. Войдя в гостиную, Иона Лазаревич остолбенел.

— Кто это повесил сюда? — спросил Иона Лазаревич, не подходя к иконе близко.

— Я, — сказал Рувим. — Красиво, правда? Особенно вот этот архангел с трубой в верхнем углу.

— Вынеси это отсюда, Рувим, — не двигаясь с места, сказал Иона Лазаревич.

— Но это же произведение искусства, папа! — с досадой воскликнул Рувим. — Неужели ты не понимаешь?

— Если бы твой дед Элиэйзер увидел это, он перевернулся бы в могиле, — тягучим голосом сказал Иона Лазаревич.

— Дедушка был верующий, а мы, слава Богу, нет, — возразил Рувим. — И времена теперь, папа, другие!

— Вынеси это, — повторил Веселовский. — Сейчас.

Демонстративно двинув стулом, Рувим поднялся из-за стола и снял икону с гвоздя.

— Хорошо, — сказал Рувим. — Тогда она будет висеть в моей комнате.

Отец молчал.

Стуча каблуками, Рувим прошел к себе и поставил икону в угол, ликом к стене.

За обедом к этой теме не возвращались, ели молча, не глядя друг на друга. Женюра, обмотав сиротливый гвоздь

подолом передника, раскачала его и выдернула из стены. Она, похоже, тоже считала, что христианской иконе не место в еврейском доме.

А старик с шофаром остался, к нему привыкли и не замечали его.

Речь пойдет о заборах.

Забор — это волнующее воспоминание о неприступных крепостных стенах, только окружает он не крепость и не замок, а — домок. И не было никогда неприступных стен, как и неприступных заборов нет. А есть: высокие и пониже, глухие и разреженные, с торчащим частоколом или чугунными пиками, или посыпанные по гребню битым стеклом, или опутанные колючей проволокой. Забор вселяет в своего владельца чувство безопасности и успокоенности — хотя никто, в сущности, не собирается этого самого владельца штурмовать, разве что чужая коза забредет в его хилые владения. Забор — это вещественная огородка собственного „я”, собственного! Забор — символ нерушимой собственности. Забор — это значит: „Стой! Это — не твое! Это мое!”

Но нет на свете ничего нерушимого.

Гражданская война сокрушила многие понятия, казавшиеся незыблемыми. Все прежние представления полетели к черту. Люди на диво легко усваивали новую реальность. И когда пришла пора защищаться ради спасения жизни, сельчане отнюдь не стали тратить время на укрепление своих заборов, но быстренько их разобрали и разнесли, чтобы удобнее и беспрепятственней было бежать. Потому что бегство — это самое простое средство защиты.

Бежали от красных и белых, от махновцев и от григорьевцев, от самостийников, от сумасшедшей Маруськи и бешеного Васьки, разгуливавшего в рыцарских доспехах и в латунной короне на бритой башке. Погуляв и отдохнув в городке, захватчики уходили дальше по своим делам, а жители возвращались, потому что деваться им было некуда, да и припрятанное добришко держало крепко, не позволяло убежать далеко.

Веселовские бежали не каждый раз. От безумных Васьки с Маруськой они бежали и от атамана Григорьева, начавшего свой буйный отдых с еврейского погрома. Другие

тоже громили и грабили, но поспешно и с оглядкой — до появления командиров. А в доме аптекаря Веселовского — одном из лучших домов городка — командиры появлялись непременно и становились там на постой. С этими людьми можно было договориться и даже найти у них защиту. Сидя за ореховым столом, они сочувственно покачивали головами и рассуждали о превратностях гражданской войны, о справедливости классовой борьбы или же о святости монархической власти. Грабили и громили нижние чины, не рассуждавшие. Эти были одинаково страшны, независимо от цвета их знамени и политических целей командования... Но и попивая чай с начальством, Иона Лазаревич не посылал Женюру вниз, в подвал, за столовым серебром.

Красные разбойничали не хуже белых. Вслушиваясь в приближающуюся со стороны рынка стрельбу, Веселовский тоскливо ждал прихода красного начальника, может, даже еврея. Он вдруг поймал себя на мысли, что вот так, говорят, ждут ареста: скорей бы пришли, и пусть кончится это проклятое ожидание... Вошла, легко ступая, Женюра с черным эмалированным чайником взамен припрятанного самовара.

— Налей мне, — сказал Рувим, придвигая стакан.

— А почему ты, собственно, уверен, что это красные? — спросил Иона Лазаревич, глядя, как Рувим, подержав очки над дымящимся чаем, протирает линзы краешком салфетки. — Зимой вон тоже говорили: „красные, красные!“ А пришли зеленые. А, Рувим?

— Какая тебе разница, папа? — буркнул в свой стакан молодой Боря. — Надо либо бежать, либо нападать.

— Вот новый стратег! — съязвил Иона Лазаревич. — Надо знать, кто это, чтобы подготовиться.

— Нападать — это не еврейское занятие, — объявила Фрума Борисовна, но на ее реплику никто не обратил внимания.

— Я вам говорю, что это красные! — надев очки и строго глядя, сказал Рувим. — Вчера здесь были их люди, присматривались. — Он сощурил глаза под очками, словно вглядываясь в то, что другим было не приметно, и продолжал: — Я повторяю еще и еще раз: надо решать!

— Если это красные, мы не бежим, — сказала Фрума Борисовна, но и на этот раз на нее никто и не взглянул, как будто она сидела молча, не открывая рта.

— Ну и решай! — мельком взглянув на брата, сказал Семен. — За себя решай. А другие сами о себе позаботятся.

— Кто же это — другие? — с вызовом спросил Рувим. — Ты, например?

— Например, я! — шлепнув ладонью по столу, сказал Боря. — Хватит! Надоело!

— Да ты просто социал-недоносок, — отмахнулся, как от мухи, Рувим. — Сопли вытри, потом решай.

— Нам надо было ехать в Палестину с дядей Левой, — вдруг вошла в разговор Роза, и братья удивленно замолчали, глядя на сестру — как будто она была немой и вот обрела дар речи.

— Что это с тобой, сестричка? — спросил, наконец, Рувим. — При чем тут Палестина? Дядя Лева был фанатик, разве ты не знаешь...

— Мой брат — хороший еврей! — ровно произнесла Фрума Борисовна. — И девочка говорит правду: хорошие евреи должны бежать в Палестину, а не в Екатеринослав.

— Там тепло, — глядя вниз, тихо сказала Роза, — и нет этих страшных гоёв.

— Гои есть везде! — наигранно строго поправил Боря. — Как и евреи.

— Замолчи! — прикрикнула Фрума Борисовна. — Твоя сестра пошла бы там под хупэ с порядочным человеком, и я наконец цацкала бы моих внуков.

Вошла Женюра, постояла, сложив руки на животе, под передником.

— Ковер нести, Ёна Лазаревич? — спросила Женюра. — А то сейчас придут...

— А! — махнул рукой Веселовский, и колокольчик приглушенно брякнул в кармане его пиджака. — Нести вниз, нести вверх... Не надо.

Где-то совсем рядом застучал пулемет и как будто граната разорвалась.

— Что это они сегодня... — недоуменно повел головою от плеча к плечу Иона Лазаревич.

— Это все твои дружки! — оборотясь к Семену, зло сказал Рувим. — „Анархия — мать порядка!“ Вот тебе порядок: из пулемета...

— А твои дружки — из рогатки, что ли? — огрызнулся Семен.

— Женюра, проверьте ставни, — указал Иона Лазаревич.
— Внизу все закрыто?

— Надо было все-таки снести ковер, — сказала Фрума Борисовна.

— Кто вообще сказал, — напористо продолжал Семен, — что именно большевики — это революция? Большевики — это новая власть, новый царь! Они у народа хоть раз спросили, чего он хочет?

— Народ! — развела руки над столом Фрума Борисовна.
— Это что — *твой* народ, Сема? Зачем тебе лезть в чужие дела?

— Маркмань горят, — вернувшись, доложила Женюра. — Смотреть аж страшно...

Маркман, владелец кожевенной фабрички, жил в высоком деревянном доме наискосок от Веселовских.

— Может, случайно, — неуверенно предположил Иона Лазаревич. — Просто пожар...

Но никто этому предположению не поверил.

— Пойду погляжу, — поднявшись из-за стола, сказал Рувим.

— Тебя же убьют! — прижимая кулачки к вискам, сказала Фрума Борисовна. — Подожди, пока они перестанут. И темно! Куда ты пойдешь?

— Зайду к Шнайдерману, — сказал Рувим. — Он-то должен знать. Ложись спать, мама.

— Я тоже выйду, — поднялся и Семен. — Вы не волнуйтесь.

Боря, воровато глядя, выскользнул следом за братьями. Младший Боря считался в семье маленьким, на него еще покрикивали по старой памяти.

— Надо было бежать, — глядя на затворившуюся дверь, сказала Фрума Борисовна. — Теперь уже нельзя... Роза, иди спрячься.

Внизу стукнула дверь черного хода, ведущего в сад, и Женюра побежала запирать за братьями. А братья, отойдя к деревьям, остановились, прежде чем разойтись.

— Значит, решил? — помолчав, насмешливо спросил Семен. — Дождался своих?

— Я-то вернусь, а ты вот хоть бы попрощался, — Рувим повел головою в сторону дома. — Ты ведь уходишь? Бежишь?

— Ухожу, — кивнул Семен. — Не хочу, чтобы твои красные утащили меня, как мешок с зерном, к себе на мельницу.

— Большевики берут только добровольцев, — поправив очки, сказал Рувим.

— Плохо знаешь! — возразил Семен. — Всех они хватают, до кого руки дотянутся.

— А ты что?! — обернулся Рувим к стоящему поодаль Боре. — А ну, марш домой!

— Если Семена они возьмут, так меня — подавно, — не подходя, сказал Боря. — Давай договоримся, Рува: друг в друга не стрелять! — И отступил на шаг.

— Боря, ты куда? — шепотом почти, горестно спросил Семен. — Иди со мной!

— А мне в другую сторону! — донеслось из-за деревьев, и захрустели ветки под ногами уходящего.

— Лучше б взяли его... — Рувим сжал кулаки, разжал, уронил руки вдоль тела. — Послушай-ка, Сема!

Но не было уже и Семена.

Рувим сунул руки в карманы брюк, поежился и зашагал, пригибаясь под ветвями яблонь и слив.

За столом остался сидеть один Иона Лазаревич: Фрума Борисовна легла, Роза пряталась в потайной чердачной камерке, вход в которую надежно загораживал старый платяной шкаф.

Перед рассветом в добротную дверь дома Веселовских постучали — сначала вежливо, кулаком, а потом ружейными прикладами.

— Иди, открой, — сказал Веселовский, и Женюра, перекрестившись, пошла исполнять веленное.

В гостиную, топоча, поднялись гурьбой четверо солдат. За ними поспевал хромой мальчик лет четырнадцати, в аккуратно подогнанном казакине, подпоясанном узким кавказским ремешком с серебряными бляшками. За ремешок был заткнут немецкий пехотный штык.

— Час который будет, хозяин? — бухнув прикладом в пол, спросил щербатый солдат со скуластым татарским лицом.

Поглядывая на мальчика, подхромавшего к застекленной горке и с интересом разглядывавшего ее содержимое, Иона Лазаревич машинально потянулся к карману, достал оттуда часы и отхлопнул крышку.

— Без десяти четыре, — сказал он.

— Ты не прячь, не прячь! — предостерег Щербатый, шагнул вперед и, схватив часы, дернул с силой. Цепочка отлетела, Иона Лазаревич отпрянул.

— Время-то у нас дорогое, — строго сказал Щербатый, опуская часы в карман шинели. — А ты сиди пока, сиди!

Хромой мальчик у горки залиvisto засмеялся, вытащил из-за пояска штык и тыльной его частью ударил в стекло. Посыпались осколки. Мальчик сунул руку в пробоину, снял с полки голландскую фарфоровую птичку.

— Деньги где? — спросил Щербатый, как об обычном. — Десятки золотые есть?

— Нет у нас ничего, все уже забрали, — сказал Иона Лазаревич. — Я пожалуюсь вашему офицеру, он у меня будет жить.

— А мы офицеров наших давно перевели, — сказал Щербатый и усмехнулся, и Иона Лазаревич похолодел от этой усмешки. — Нету у нас больше офицеров.

Второй солдат, пожилой человек с большими, красными, как у прачки, руками подошел к Веселовскому сбоку и сильным ударом ноги вышиб из-под него стул. Иона Лазаревич упал, в кармане его пиджака звякнул колокольчик. Нагнувшись над упавшим, Щербатый просунул лапу в его карман, вытащил серебряную безделушку и, внимательно ее оглядев, бросил хромому мальчику. Мальчик поймал колокольчик, зазвонил, засмеялся визгливо и заливчато.

— Добром не даешь — сами поищем, — мирно сказал Щербатый и несильно пнул лежащего Иону Лазаревича носком сапога. — Пошли, ребята!

Мальчик, не переставая звонить, похромал за ними.

2. ХРОМОЙ МАЛЬЧИК

Бывшая городская управа стояла у самой Базарной площади, в устье единственного в городке бульвара — прямой узкой улочки, заросшей тополями и конским каштаном. Многократно горевший, перестроенный и расширенный, этот каменный старинный дом служил в разные времена амбаром и тюрьмой, заезжим двором и, наконец, городской управой. После революции в нем обосновался земком, вскорости уступивший место ревкому, сменившемуся, в свою очередь, ревсоветом. А потом началась гражданская война, и мимолетные власти и не искали для себя более удобного привала, чем этот бывший амбар: подвалов обширней и глуше не сыскалось бы ни в каком другом доме Весело. А хороший подвал, удобный для содержания и расстреливания людей, — это уже половина молодой власти; вторая половина торчит над землей, украшенная флагом и охранниками-часовыми.

Обогнув площадь, Рувим вышел к бульвару и долго скрывался в зарослях чьего-то сада, вглядываясь издали: часовой уже стоял у каменного крыльца бывшей управы и висел красный флаг. Рувим видел, как солдаты привели какого-то человека со связанными руками и, понукая прикладами, загнали его в штаб мимо часового. Как Рувим ни вглядывался, он не смог разглядеть в темноте лица арестованного. Подождав еще немного, он одернул пиджак, поправил очки и не бегом, но ходко пересек бульвар. Часовой у крыльца молча встал на его пути.

— Я к начальнику, — остановившись, сказал Рувим.

— Нельзя, — хмуро глядя, сказал часовой. — Утром приходи.

— Я хочу записаться добровольцем, — объяснил Рувим. — Я местный, всех здесь знаю.

Рувиму муторно было пускаться в объяснения перед этим тупым часовым и тем более о чем-то его просить, но именно этот парень со зверской харей являлся сейчас для Рувима абсолютной верховной властью: он мог пропустить в штаб, мог отпихнуть прикладом или застрелить. С опаской глядя в желтоватые, пивного цвета, глаза часового, Рувим вспомнил рассуждения Семена о преимуществах безвластия и отступил на полшага.

— Эй, Козин! — не опуская ружья и не оглядываясь, позвал часовой. — Слышь, Козин!

— Чего там? — услышал Козин.

— Тут гражданин, местный, — доложил часовой.

— Давай его сюда! — распорядился Козин.

— Иди! — указал часовой, и Рувим бочком, бочком прошел в высокую дверь штаба.

Справа от входа сидел за ломберным столиком Козин и хлебал кашу из жестяной кружки. Не отрываясь от своего занятия, он оглядел стоявшего перед ним Рувима и спросил:

— Ты местный? А Федорчука знаешь?

— Знаю, — сказал Рувим. — Меня Шнайдерман может рекомендовать. — Ему неприятно было стоять навтыжку перед чавкающим Козиным и зависеть от него, как только что от часового.

— Шнайдерман? — переспросил Козин. — Тоже жидок, что ли?

Рувим промолчал, только с презрением и ненавистью поглядел на кружку в руке Козина.

Стук копыт у крыльца и громкие голоса избавили Рувима от ответа. Козин поспешно вскочил, утирая рот тыльной стороной ладони.

— Отойди! — гаркнул Козин.

Но дверь уже отпахнулась от резкого толчка. С улицы стремительно вошел, по-хозяйски не глядя по сторонам, невысокого роста молодой еще человек в коричневом кожане и кавалерийских галифе, запроваленных в большие, не по

размеру, офицерские сапоги. Козин, вытянув руку, сгреб Рувима за плечо и рванул его с дороги вошедшего, и очки Рувима упали на пол.

— Очки! — возмущенно вскрикнул Рувим и, нагнувшись, стал шарить руками по заплеванному полу.

Вошедший остановился, неодобрительно глядя на Козина.

— Местный какой-то, товарищ комиссар, — выдавил Козин. — В добровольцы он хочет.

Рувим наконец нашел очки и, протирая их носовым платком, выпрямился. Теперь он стоял прямо против комиссара, в шаге от него, с очками в руке. Комиссар взглянул на местного мельком, потом, вдруг вытянув шею, взгляделся пристально. Козин шумно вздохнул, как лошадь. Комиссарские сопровождающие стояли молча, ждали.

— Рувим... — негромко сказал комиссар и повторил уже уверенно, радостно: — Рувка!

Рувим сощурился, вскинул очки к глазам:

— Иуда!

Они шагнули друг к другу, встретились, обнялись.

Рувим Веселовский и Иуда Губельман познакомились и подружились в Лондоне, в доме политэмигранта Утина, левого эсера. Дед Утина, Николай Исаакович, земледелец-шестидесятник, был в свое время вхож к Марксу и близок к Герцену. За участие в революционном движении царский суд приговорил его заочно к смертной казни. Это, да еще то, что покойный Николай Исаакович „видел Маркса”, сделало его внука Пашу, левого эсера, необыкновенно привлекательной фигурой, „верным человеком” в глазах Губельмана и Веселовского. Внук такого деда просто не мог не быть революционером до мозга костей.

Паша Утин жил на берегу Темзы, как на берегу Невы: по-английски у него никогда не говорили ни слова, Британия лишь граничила с порогом его дома. Не было, наверно, ни одной международной проблемы, которая бы не решалась и не была решена на утинской кухне за бесконечными чаями. Пили, впрочем, тут и водочку из наперсточных рюмок драгоценной перегородчатой эмали, ели горячие калачи, блины с икрой и выписанные из России соленые грибки: единствен-

ный сын богатых и либеральных родителей, Паша не испытывал стеснения в средствах.

Драгоценная утинская икорка смущала Иуду Губельмана — выходца из нищенских местечковых низов, попавшего в Лондон из сибирской ссылки. По мнению Иуды, революционеру следовало быть в жизни естественно неимущим, как нагану — заряженным, а тигру — полосатым. Да и после революции, в приход и победу которой Иуда верил свято, после справедливого дележа конфискованного у грабителей, он не собирался отягощать руки излишним добром. Все его имущество состояло из нескольких книг и брошюр, смены штопаного белья и фотографии родителей: отец в ермолке, а мама в парике. Сибаритство Паши Утина — внука революционера, но зато правнука миллионера-купца — неприятно коробило Иуду Губельмана: после революции, несомненно, следовало бы отобрать у Паши излишки и распределить их между нуждающимися и обездоленными. И, намазывая икру на калач, Иуда был собой недоволен: он разбазаривал имущество Паши Утина, он, тем самым, обкрадывал будущих его законных наследников — угнетенных российских пролетариев... Но икра была так вкусна, а Иуда бывал так голоден.

Рувим Веселовский знал о сомнениях Иуды, но отнюдь их не разделял. Ну, так достанется пролетариям чуть меньше — подумаешь, дело какое! Да Иуде и полагается: он подпольщик, он уже пострадал за народ. Жужа со своим товарищем безвкусную, как тряпка, английскую рыбу в харчевне, он слегка досадовал: куда приятней было бы сидеть у Утина! Но Иуда настаивал на харчевнях, и самых наидешевейших. Набив желудок рыбой, которую впору было бросить кошке, друзья отправлялись к Паше пить чай с фисташковым печеньем и спорить о тонкостях государственного устройства России после победы пролетарской революции. В этих спорах Иуда, рубя рукой, призывал учиться на плачевных ошибках французской революции и настаивал на введении крутых мер. Грызая бисквиты, Пашины гости не без опаски слушали крайнего Иуду. А Рувим понимал, что Иуда не к топору зовет Русь, а всего лишь к справедливости, и только ради этой замечательной справедливости готов на пролитие крови — чужой, но и своей тоже.

И Рувим, хмуря лоб над очками, готов был идти за Иудой — конфисковывать и ликвидировать, перевоспитывать, экспроприировать и перераспределять.

Через неделю после вступления царя в войну Иуда Губельман, не простясь, исчез из Лондона, и у Утина вздохнули с облегчением: справедливость справедливостью, но крайности тоже должны иметь свои границы.

Чувствуя насмешливый холодок и не умея с ним яростно бороться, Рувим Веселовский вскоре после таинственного исчезновения друга перестал бывать в доме Утина.

Они шагнули друг к другу, встретились, обнялись.

— Рувка!

— Иуда...

Козин, приоткрыв рот, смотрел на них от своего ломберного столика, и смотрели другие люди, проходившие мимо и остановившиеся как бы невзначай.

— Идем ко мне, — сказал Иуда и повел Рувима.

В комнате комиссара стоял большой канцелярский стол и просиженный кожаный диван, меж буграми которого, как домашнее животное, валялась скомканная шинель.

— Сколько же это лет прошло? — удовлетворенно глядясь в Иуду, спросил Рувим.

— Эпоха! — улыбаясь, ответил Иуда. — Но ты все такой же... Помнишь эти утинские калачи?

— А что с ним самим, ты не знаешь? — спросил Рувим. — Где он?

— Не знаю, — все так же улыбаясь, сказал Иуда. — Но зачем ты здесь сидишь, в этой глуши?

— Прежде всего, — Рувим сел на диван, рядом с шинелью, — ты мне скажи: могу я идти с вами, с тобой?

— Ну, конечно! — кивнул Иуда. — Мы здесь, в сущности, делаем черновую работу, грязную, если хочешь, — но почему другие должны ее делать вместо нас?... Хочешь, я оставлю тебя здесь, в Весело, нашим уполномоченным?

— Нет-нет! — возразил Рувим. — Я хочу с вами. Чтоб отмываться, надо сначала вымазаться в грязи, а?

— Воды жалко, — присаживаясь на кончик стола, сказал Иуда. — Да и рано еще... Потом, когда-нибудь, построим одну огромную баню — для всех, кто уцелеет.

— И самый грязный, — подхватил Рувим, — выйдет оттуда самым чистым.

— Пожалуй... — помолчав, сказал Иуда. — Только водичка оттуда не грязная пойдет — красная.

Дверь нерешительно приоткрылась, в проеме показалась голова Козина.

— Тут арестованных привели, товарищ комиссар! — сказала голова. — Куда их?

— Вниз! — отмахнулся Иуда. — Подождут!

— Они-то со спасибочком, — ухмыльнулась голова и исчезла.

Из-за двери послышалось шарканье ног и гаркнул Козин:

— Давай вниз, контра! Живи пока!

Рувим живо представил себе, как арестованных гонят вниз, в подвал.

— Их расстреляют? — стараясь казаться безразличным, спросил Рувим.

— В этой войне нет невиновных, — с нажимом потирая пальцами глаза, сказал Иуда. — Все виновны. Но победим — мы!

Рувим поднялся с дивана, потянулся, потянул воздух, как будто повеял в этой комнате винный ветер победы.

— Пойдем к нам! — сказал Рувим. — Я о тебе отцу рассказывал. Отдохнем часа хоть два.

— Все у тебя живы? — рассеянно спросил Иуда. — Ну, пойдем... Эй, Козин! Будут меня спрашивать — я у...

— Главная улица, дом аптекаря Веселовского, — глядя сквозь застрявшего в двери Козина, сказал Рувим.

На улице светало. В белёсом тумане, за разрушенными заборами дома городка казались не спящими, а мертвыми.

Не успела еще отгрохотать лестница под ногами Щербатого и его приятелей и потрясенный Иона Лазаревич еще не успел подняться с пола, как в гостиную вернулся хромой мальчик.

— Лежи! — крикнул мальчик копошащемуся Ионе Лазаревичу. — Я тебя сторожить буду, чтоб не улег. Сволочь!

Подхрамав к разбитой горке, мальчик выгреб оттуда остатки безделушек и деловито сунул в карман склеенный

из ракушек кораблик. Аляповатая русалка почему-то его рассердила. „Титьки у ей на месте, а больше нету ничего!“ — недовольно проворчал он и мстительно, из-под тонких золотых бровок поглядел на Иону Лазаревича, как будто это лежащий на полу аптекарь был виноват в огорчительной непригодности девушки с рыбьим хвостом. Оглядев русалку со всех сторон и не обнаружив искомого, мальчик еще пуще разозлился и, размахнувшись, швырнул фигурку в Иону Лазаревича. За русалкой последовало старинное севрское блюдечко, деревянный сапожок со звездчатой кавалерийской шпорой, тяжелая чернильница в форме бочонка и, наконец, ножевидный обломок стекла, выломанный из горки. Прикрыв голову руками, Иона Лазаревич переждал опасный град.

— Я у одного жида нашел тоже вот в шкафчике таком бабу, — сообщил хромой мальчик, — вся белая, гладкая, как из коровьего масла. А руки у ей кто-то отпилил, ровнехонько так. Если б я его тогда поймал, кто отпилил — глаза б штыком выколочил! — Он выхватил свой штык из-за пояса и смаху вогнал его в полированную столешницу.

— То была, наверно, Венера, — глядя на порезанную ножевидным осколком руку, мягко сказал Иона Лазаревич. — А это — русалка. Знаешь сказку про русалку?

— Ты мне зубы не заговаривай! — вдруг заорал мальчик и, низко припадая на хромую ногу, подбежал к Веселовскому. — Сказки! Контра! Всех вас в расход надо! Беляк!

Глядя на штык в руке мальчика, Иона Лазаревич с надеждой ждал появления пены на его губах и молил Бога, чтобы приступ падучей свалил его как можно скорей. Но пена не показывалась, и голубые глаза мальчика были вполне осмысленны.

— Хочешь варенья? — не шевелясь на полу, спросил Веселовский.

— Давай, — согласился мальчик. — А где?

— В буфете, наверху, — сказал Веселовский.

Достав банку, мальчик сел на стул против Ионы Лазаревича и вытащил из-за голенища сапога серебряную ложку с чьей-то монограммой на черенке.

— Хорошее варенье, — одобрил мальчик. — Я вишенное люблю: кисленькое, а сладкое... Старуха твоя варила?

— Старуха, старуха, — охотно подтвердил Иона Лазаревич, а потом разведаль осторожно: — А твоя мама тоже сама варит?

— Моя не варит, — работая ложкой, отклонил мальчик предположение Веселовского. — У моей мамы кухарки есть — знаешь, сколько? Знаешь? — Мальчик опять орал, выгибая бровки и тараша глаза.

— Не знаю, — сказал Иона Лазаревич, жалея о спрошенном.

— Сто! — выкрикнул мальчик, и полуразжеванная вишня вылетела из его рта и попала в лицо Веселовского. — У нас сад, может, побольше, чем твой, а папаша мой — граф!

— А мой папаша был бедняк, почти нищий, — сказал Веселовский, стараясь стереть плечом вишню со щеки.

— Все равно ты белый, — возвращаясь к варенью, сказал хромой мальчик, — тебя в расход надо.

— Я не белый, — тихонько сказал Иона Лазаревич.

— Красный ты, что ли? — спросил мальчик, со смаком чавкая. — Мы вас всех в расход пустим, и тогда всем будет хорошо. — Он покончил с вареньем, катнул порожнюю банку по полу и послушал, как она раскололась, ударившись о стенку.

Иона Лазаревич промолчал, опасливо косясь на мальчика, на его хромую ногу. Отчего он охромел — от болезни, от ранения, или таким родился? — этот вопрос мучил Веселовского, но спросить он не решался.

— Я никого не боюсь, — хвастливо сказал мальчик, убирая ложку обратно за голенище. — Ты не смотри, что у меня нагана нет — у меня есть! Да я вот этим вот штыком какого хочешь буржуя насмерть заколю! Сказал — заколю! — Он вдруг выхватил свой штык и сделал несколько слепых выпадов, и Иона Лазаревич почувствовал колющую боль в плече.

— Ты меня боишься? — с любопытством спросил мальчик.

— Боюсь, — горько сказал Иона Лазаревич.

— Вот хорошо! — одобрил мальчик. — Тогда мы скоро победим.

— И что будет? — спросил Иона Лазаревич. Плечо его понемногу немело, кровь пропитывала рукав пиджака.

— Справедливость, говорят, будет, — пожав плечами, сказал мальчик, а потом поднялся со стула и наклонился над Веселовским: — А мне и сейчас лафа... Дай папироску!

— Я не курю! — извиняющимся тоном сказал Иона Лазаревич.

— Врешь! — взвизгнул мальчик. — Вы все папиросы курите, а мы — махру! Давай! — Острие штыка он приставил к шее Веселовского, сбоку.

— Честное слово... — сквозь зубы, чтобы не заплакать, выдавил Иона Лазаревич.

— А ты дыхни! — чуть отпустив штык, приказал мальчик.

Иона Лазаревич разжал челюсти, выдохнул. И ощутил во рту что-то липкое и омерзительное, и услышал хохот.

Обильно плюнув, хромой мальчик утер губы рукавом и покатился со смеху.

Веселовский обмяк, осел, ударился лицом, оплеванным ртом об пол: раз, другой.

А хромой мальчик, казалось, вовсе утратил интерес к Ионе Лазаревичу. Кособоко подсакивая, он задумчиво обошел комнату, остановился перед картиной „Старик с шофаром“, поглядел, пощупал, поколупал ногтем краску. Затем сел за стол, вынул из кармана колокольчик, голландскую птичку и ракушечный кораблик и расположил все это перед собой.

— Чив-чив-чив! — сказал мальчик, двигая птичку по блестящей поверхности к маковому коржу. — Чив-чив! Попроси хлебца! — И потыкал ее носом в коржик.

Щербатый поспешно вошел в гостиную и, подойдя, погладил мальчика по голове.

— Чего вы меня тут бросили... — капризно сказал мальчик. — Скучно сидеть-то!

— Будя в игрушки-то играть! — притворно хмурясь, укорил Щербатый. — Иди наверх, Бусой там.

— А дядя Витя где с Митькой? — прыгивая со стула, спросил мальчик.

— Ушли уже... — сказал Щербатый. — Быстро давай! — И сел, раскинув сильные мужицкие ноги.

А хромой мальчик, цепляясь за перила, потащился по крутой лестнице на чердак.

Там, на чердаке, было почти темно: горела свеча, всаженная в пустую бутылку, и это все. Бутылка стояла на простом просторном столе, во главе которого восседал когда-то, в старые времена, Элиэйзер Веселовский. Свеча в бутылке, ровно горя, освещала груды старой одежды, выброшенной на пол из платяного шкафа, сдвинутого со своего места у стены. На одежде лежала Роза, белели ее ноги, и на белом животе чернели кровавые полосы и пятна. Юбка ее была задрана, подол юбки скручен жгутом и забит в рот, как кляп. Бусой стоял у стола, курил сигарку короткими затяжками. Увидев хромца, Бусой погасил окуроч, прижал его пальцем к столешнице, как насекомое.

— Ну, пришел... — проворчал Бусой, отстегивая пряжку ремня на шароварах. — Каждый за себя только думает, а она ерзает, сука, подержать даже некому.

Встав на четвереньки, он неловко опустился на груды тряпья, и девушки не стало под ним видно.

— Иди, держи! — приглушенно донеслось из тряпья. — Ноги держи! Не знаешь, что ли!

Хромой мальчик, упав на колени, готовно нащупал ноги девушки, с натугой, как ветви молодого упругого деревца, развел их и так держал.

— Целуй! — рычал Бусой, шаря красными, как у прачки, руками. — Целуй, сука!

Мальчик слушал внимательно, вглядывался.

— Тоже, тилигенция, — подымаясь, сказал Бусой. — Мужика обслужить не может... То ли квелая, то ли дохлая!

Мальчик все не отпускал, вглядывался жадно.

— Ну, давай, действуй, — сказал Бусой и шагнул к лестнице.

— Ты куда? — шепотом, словно боясь разбудить спящую, спросил мальчик.

— Сам справишься, ты легкий! — сказал Бусой и стал спускаться.

Девушка лежала неподвижно, как тряпичная кукла, извоженная и брошенная детьми. Хромой мальчик осторожно отпустил ее ноги и, подергиваясь, распустил свой кавказский пояс и приподнял казакин, как будто собирался присесть по нужде. Штык выскользнул и брякнулся о неструганые доски пола.

— Целуй, сука! — закричал мальчик, роясь в тряпье. — Чего лежишь?!

Но девушка лежала неподвижно, как будто это не на нее кричал хромой мальчик, а на какого-то другого человека, которого здесь не было. Тогда мальчик, приподнявшись, нащупал ее горло под задранной юбкой и надавил.

— Я т-те покажу! — ерзая и смеясь, лопотал мальчик. — Всем можно, а мне нельзя! Я т-те в охоту приведу!

Изогнувшись в поясе, он нащупал штык на полу, повозил острием по груди девушки и, найдя подходящее место, остановился наконец. Жало штыка приходилось под левой грудью, мальчик установил это, помогая себе рукою.

Девушка была неподвижна, только как будто еще глубже ушла в тряпье.

Тогда хромой мальчик всей тяжестью своего узкого щуплого торса налег на штык и опустил вместе с ним — пока его сбитые в кулак руки не уперлись в грудь неподвижной.

Так они лежали некоторое время — грудь к груди, разделенные лишь кулаками мальчика, сведенными на деревянной рукояти штыка.

Когда внизу хлопнула дверь и раздались голоса людей, мальчик поспешно вскочил и, подбирая штаны, припадая, попятился к лестнице.

— Ну, вот, — сказал мальчик. — Теперь будешь знать...

Щербатый сидел на том же стуле, почти не изменив позы — только руки его были связаны за спиной.

— Я ее не убивал, товарищ комиссар, — повторил Щербатый. — У меня и штыка такого не было, это мальчонкин штык, он ее заporол.

— Какой Мальчонкин? — не понял Иуда и посмотрел на Рувима — тот сидел, обхватив голову руками.

— Да никакой не Мальчонкин! — пустился в объяснения Щербатый. — Это парнишка такой, ну, мальчик, мы его ради смеха держим. Да вы его видали, товарищ комиссар: калечный он, хромой на одну ногу.

— Он... убил? — спросил Иуда. — Зачем?

— А кто ж его знает! — удивился Щербатый. — Он отцу родному горло перекусит! Зверек! А — веселый...

— Веселый... — повторил Иуда и снова взглянул на Рувима.

— Ну да, — сказал Щербатый. — Мы его помочь пустили, а он, вишь...

— Значит, помочь... — разжевал Иуда.

— Ну да! — подтвердил Щербатый. — А он всегда говорил: я, говорит, всех буружев кончу, а вас, говорит, обману: и тебя, дядя Миш, и тебя, мол, и Бусого — а сам смеется... Мальчик революционный! — подвел итог Щербатый.

Иуда ниже опустил голову, глядел в стол.

— А насчет этого дела, — дополнил картину Щербатый, — дамочки, то есть — ну, пошутили мы с ребятами и пошли.

— За осквернение революционного знамени, — сказал Иуда Губельман, не повышая голоса, — расстрелять. — И кивнул конвойным.

Конвойные спихнули Щербатого со стула, подхватили его, поволокли вниз. Подойдя к окну, Иуда глядел, как приговоренного вывели в сад и, не найдя там ни глухой стены, ни забора, стали прикручивать его веревкой к яблоневому стволу.

— Рува... — позвал Иуда. — Иди расстреляй его.

Рувим покачал головой: нет, нет. Отрывисто треснул за окном выстрел, потом другой. Потревоженные птицы снялись с деревьев, повисли над садом и вернулись на свои места, в круглые кроны. Иуда подождал, пока последняя, успокоившись, пропала в ветвях, и сел к столу.

— Останешься, Рувим? — помолчав, спросил Иуда. — Или пойдешь с нами?

— Не знаю, — сказал Рувим, не отводя рук от лица. — Ведь это не вы ее убили... Это...

— Мы, — жестко сказал Иуда. — Это мы, Рувим. И если ты принимаешь и это — идем: ты теперь нам нужней, чем раньше. А нет — оставайся лучше здесь.

— Нужней? — спросил Рувим. — Почему?

— Это не в первый раз случается, — сказал Иуда, — и не в последний. И ты, может, только ты многих сумеешь сберечь от такой судьбы.

— Я не знаю... — покачал головой Рувим. — Я потом скажу...

— Жида поймали!

У Семена Веселовского нечего было отбирать, поэтому грабитель — вооруженный шашкой молодой мордастый парень — поглядел на него подозрительно и остался недоволен.

— Жид? — спросил мордастый.

— Какой там жид! — сказал Семен по-украински. — Студент я.

— Скажи „кукуруза“! — потребовал мордастый.

— Кукуруза! — раскатисто выговаривая „р“, сказал Семен.

— Кацап? — усомнился мордастый. — А ну, скажи „паляныця“!

— Паляныця, — пожав плечами, повторил Семен.

Искали евреев, русских. Нэнька Украина очищалась от инородцев.

— Это Егорка, — с опаской выглядывая в окно, сообщил бывалый Семенов сосед. — На той неделе он тут один вагон живьем спалил, прямо с народом.

— Где? — стараясь свободно держаться, спросил Семен.

— Ты голову-то не высовывай, а то живо отстрелят! — предостерег сосед. — Во-он стоит, смотрит.

— Сам ты Егорка! — возмутилась почему-то баба, повязанная крест-накрест коричневым клетчатым платком. — Тараска это, вон у людей спроси, если не знаешь! И вагон никакой не Егорка спалил.

— Кум он тебе, что ли? — поинтересовался сосед.

— Не кум! — огрызнулась баба. — А чего напрасно-то говорить! Я вон в запрошлом месяце ехала в Екатеринослав, соль везла, так Егорка-то тоже поезд взял да остановил.

— Ну! — поторопил сосед. — Дальше-то что?

— А то, — сказала баба, — что жидов он всех поснял с поезда, а православных пальцем даже не тронул. А ты говоришь — Егорка! — И баба, жалостливо высморкавшись в кулак, поглядела в угол, откуда мордастый выхватил ее мешок, — как будто там только что грыз себе семечки близкий ей человек, и вот налетел вихрь и унес его, и следа не оставил.

Тем временем конники поймали в поле машиниста с кочегаром, помяли их, потрепали нагайками и пригнали к телеге, куда воротился, теперь уже неспешным шагом,

бородатый мужик в красных портках — то ли Тараска, то ли Егорка.

— Вы чего утекли? — неодобрительно разглядывая пойманных, спросил мужик. — Кто велел?.. Как покинувших народное имущество — повешу.

Услышав приговор, кочегар молча повалился мужику в ноги, а машинист остался стоять, прижимая свою котомку к боку. Из разбитого носа машиниста, собираясь на небритой губе, падала каплями кровь.

— Ладно, помилую на этот раз, — морща лоб, передумал мужик. — А ну, геть в машину! Топи печку! И свисток давай, чтоб слышно было!

Пролетарии поспешно полезли по отвесной лесенке в будку. Бородатый мужик, наклонив голову к плечу, со знанием дела вслушался в бархатистый голос паровозной сирены и улыбнулся удовлетворенно. Послушав, он двумя пальцами вытянул из кармана портков вышитый золотую и алою нитками белый шелковый платок и взмахнул им над своей буйной головой. Кто-то зоркий заметил этот условный знак, потому что тотчас смирившихся было со своей судьбой пассажиров стали пинками выгонять из вагонов, и люди посыпались с подножек наземь, как спелые яблоки с ветки, и не обошлось без ушибов. А неугомонный Егорка то ли Тараска вновь побежал вдоль состава, надзирая за погрузкой награбленного в подоспевшие подводы. И когда последняя подвода отъехала, а последний пассажир был вышвырнут, бородатый разбойник поднялся в паровозную будку.

— Давай, вези, — приказал он машинисту.

Недавние пассажиры, не растерявшие еще надежду, горько глядели из-под насыпи на уходящий задом наперед, в степь, прочь от Александровска поезд.

— Бронепоезд украсть — это я понимаю, — потирая ушибленное плечо, сказал сосед Семена. — Но — поезд? На кой хрен ему поезд? — Он пожал плечами и сморщился от боли.

Народ поднялся с земли, отряхнулся и налегке зашагал — кто по шпалам, кто напрямик по степи.

Александровский вокзал сотрясался от храпа, ходил ходуном. Пласты махорочного дыма, сизо подсвеченные

— Надо к старикам твоим пойти, — сказал Иуда, — они не знают еще... Пойти с тобой?

— Нет, — сказал Рувим, подымаясь деревянно. — Сам...

Но дверь отворилась, на пороге стоял один из конвойных.

— Товарищ комиссар, — свежим голосом доложил конвойный, — часы у него в кармане нашли, золотые. И мальчонку поймали, он сбежать хотел. Да куда он сбежит на одной ноге!

Посторонившись, конвойный из-за спины выволок хромого мальчика и впихнул его в гостиную.

— Можешь идти, — отпустил конвойного Иуда и придвинул часы к Рувиму, к его локтям, упертым в столешницу.

— Это дядя Миша у старика забрал часики-то, — спеша, сказал хромым мальчик. — Я сам видал.

— Ты ее заколол? — кивнув в потолок, глухо спросил Иуда.

— Не, не я, товарищ комиссар, — зачастил мальчик. — Я наверх даже не ходил, я здесь сидел, старик мне варенье дал, вон банка разбилась.

— Врешь! — крикнул Иуда. — Кто тебя научил врать?

— Кто научил? — сердито повторил мальчик. — Все! На правде щи не сварить! Кто научил...

Иуда покосился на Рувима, помолчал.

— Что у тебя в кармане? — спросил Иуда. — Положи сюда!

— Вот! — сказал мальчик, выкладывая на стол колокольчик и кораблик с ракушечными парусами. — Вот... А птичка... — В голосе его зазвучала досада, он вывернул карман наизнанку. — Синенькая такая... На чердаке, наверно, уронил, черт...

— Значит, был на чердаке, — удовлетворенно сказал Иуда, и Рувим наконец поднял глаза и поглядел на хромого мальчика.

— Ну, был, да, — снова затараторил мальчик. — Так я ж только смотрел, а там темно, ничего даже не видно.

— Твой? — спросил Иуда и положил штык на стол.

— Ну, мой, — мальчик переступил с ноги на ногу, качнулся, острое его плечо поползло вверх. — Так у меня дядя Миша его взял и наверх пошел.

— Врешь! — крикнул Иуда. — Зачем ты ее убил?

— Так само это как-то вышло, — заискивающе улыбнулся мальчик и снова переступил, и качнулся, и уродство его было отвратительно Иуде. — Я пощекотать только хотел, а она лежит — и все, еще издевается. Бусой когда ходил, так она не издевалась! А надо мной, значит, можно! А я не хуже других, я тоже за революцию воюю! — Он всхлипнул и принялся тереть глаза кулаками.

Рувим застонал, зажмурился, плечи его тряслись.

— Жидовки — они вообще-то живучие, — виноватым голосом сказал мальчик. — А эта...

— Ты хуже змеи, гаденыш, — потерянно, как со сна, сказал Иуда. — Ты с нами жить не должен, тебе места нет. Тебя расстрелять мало!

— Дяденька комиссар, меня стрелять нельзя, — нашелся хромой мальчик. — Я маленький! Вон дядю Мишу кончили, а меня нельзя. — Он больше не тер глаза, глядел без страха из-под своих золотистых бровок. — Вы сами говорили: кончится война, я в школу пойду учиться.

Иуда рывком вынул револьвер из кобуры, взвел, наклонился к Рувиму:

— Его надо остановить. Ему нельзя дальше!.. На! — Он силком вложил оружие в прыгающие руки Рувима.

Хромой мальчик выпрямился, в глазах его светилось удивление. Он стоял с открытым ртом, вцепившись руками в низ живота.

— Стреляй! — закричал Иуда.

Рувим послушно потянул крючок, пуля ударила в стену и отскочила с визгом. Длинно матерясь, Иуда вырвал револьвер из прыгающей Рувимовой руки и выстрелил. Мальчика отбросило к стене, хромая нога его подломилась, и он боком, боком сполз на пол.

— Так надо! — крикнул Иуда. — Понял, ты?!

— Я пойду с вами, — сказал Рувим и, сведя руки в замок, поднялся из-за стола.

3. ГУЛЯЙПОЛЕ

Степь разворачивалась перед лицом путника, как штука пестрого ситца. Степь без оглядки уходила за горизонт, и казалось, весь каменный прилавок мира до самого обрыва застлан этой украинской степью, зеленой и золотой. Степь пахла подсохшей землей и вольными травами, растущими безнадзорно, и этот запах теплого степного тела волновал человеческую душу, пока она не привыкнет и снова не уснет.

Поезд полз по степи. Черный паровоз, как навозный жук лапками, шустро шевелил дышлами и сипло свистел, но степи не мешал ничуть. Поезд полз, и вонь, колом стоявшая в вагонах, не могла перебить запах степи, свободно входивший в окна. Прислонившись плечом к оконному косяку, Семен Веселовский прилежно уговаривал себя и убеждал, что однообразие степного пейзажа вовсе его не угнетает и что совсем ему не обрыдло глядеть в окно, вперед по ходу поезда, где должен же был, наконец, появиться из травы вокзал узловой станции Александровск.

До Александровска поезд не дополз. Верстах в пятнадцати от города с паровоза замечена была запряженная волами телега, стоявшая поперек полотна. В телеге помещался бородатый мужик в красных портках. Чуть отступя, рельсы перегораживала небрежно сложенная из поленьев, досок и ветвей гора; телега с мужиком стояла у подножия этой горы.

Машинист, не мешкая, дал аварийный тормоз. Тормозной песок брызнул на рельсы, высокие колеса забуксовали со скреготом, и железные оглобли дышл косо задрались вверх. Паровоз осел на тендер, словно чья-то рука властно натянула поводья, но продолжал медленно двигаться вперед. Мужик в телеге проявил беспокойство и замахал руками. Тогда, подхватив свою котомку, машинист молча кивнул кочегару, и оба они мешками выкинулись из будки и шибко побежали в степь. Из-за деревянной баррикады без промедленья, будто выпущенная из рогатки, вылетела тройка конников и с гиканьем помчалась наперерез пролетариям.

Поезд, между тем, остановился, не доезжая телеги с мужиком. Пассажиры, как будто у них не было другой заботы, поспешно кинулись поднимать свой багаж, повалившийся на пол. Спрыгнув с телеги, мужик в красных шелковых портках по-рысьи оглядел беспомощный поезд и побежал по насыпи вдоль состава. Откуда ни возьмись — из-за баррикады или из иного укрытия — появились в степи вооруженные люди и деловито стали взбираться в вагоны. Малое время спустя из окон на насыпь полетели корзины и мешки.

Мужик в красных портках, добежав до хвоста поезда, остановился и теперь наблюдал за происходившим, как генерал с бугра. Обложенное коричневой бороδοю, с крупным носом и мощным таранным лбом лицо мужика было красиво картинной разбойной красотой. На полотнах или гравюрах на фоне таких лиц маячит обычно виселица, и расторопные молодцы, ничтожные рядом с героем произведения, уже возьмется с веревкой.

А по вагонам шел грабеж. Обобранные пассажиры глядели хмуро, но не роптали: одному недовольному грабители уже проломил голову кастетом, другого выкинули в окно вместе с его мешком, с которым он не пожелал расстаться добровольно. Шаря под лавками и на полках, добытки как бы собирали урожай в поле; пассажиры не представляли для них видимого интереса, как небесные грачи или же козы, побрякивающие своими колокольцами в кустарнике. Но вот потащили по проходу мужчину в синем пиджаке, в сбитом на ухо картузе, и сосед Семена поделился с ним своим наблюдением:

тусклыми редкими лампами, клубились под потолком, и раскачивались и плыли лампы на длинных шнурах, и это еще усиливало ощущение ковчежной зыбкости вокзала. Путники, странники и бродяги спали, раззявившись, на полу. Мешочники обнимали свои мешки, как жарких жирных жен, большезадых, а неимущие озабоченно храпели, подложив под голову сапоги. Но кое-кому и не спалось: играли, сидя по-турецки, в карты, откусывали от завернутых в холщевую тряпицу брусочков сала и вдумчиво жевали, и белорукие воры в утиных кепочках лениво оглядывали собрание. И раскачивался шаткий ковчег вокзала в ночном море, имя которому — гражданская война.

Войдя в вокзал и не обнаружив свободного местечка, Семен Веселовский ничуть не озаботился — мир был достаточно широк, чтобы примоститься под одним из его кустов или заборов, на свежем воздухе. Безудержная легкость овладела Семеном в тот час, как он вышел из родительского дома и шагнул в этот самый мир из-под черных деревьев сада. По молодости лет неверующий и несусеверный, спасенье от разбойного Егорки он принял не как знак и не как чудо — а просто отряхнул ладонью степную пыль с колен и пошел пешком в Александровск. Избавленье от гибели посреди степи подсыпало праздничных блесков в его замечательную легкость — и она вела Семена и влекла и переполняла.

Мельком взглянув на крупно выведенное на вокзальной стене „Даешь Бердянск!“ и, чуть пониже, „Всем давать — давалку поломать“, он перешагнул через чугунную оградку запущенного газона и, пошуровав ногой в чахлой траве — а нет ли дерьма, — прилег на землю, еще не растратившую дневного тепла. В недрах кроны белой акации, одиноко стоявшей на краю газона, возилась потревоженная птица, и возмущались жесткие листья. Вслушиваясь, Семен вспомнил почему-то Егорку и улыбнулся в темноте — как увлекательному дорожному приключению.

Поезд на Гуляйполе обещали часа через полтора-два; да и не до самого Гуляйполя, а лишь до Пологов на Конке-реке. От Пологов до Гуляйполя, объясняли словоохотливо железнодорожные знатоки, рукой подать — и пренебрежительно махали рукой, показывая тем самым, что расстояние плевое, можно как-нибудь добраться. Сидя на вытоптанном стан-

ционном газоне, Семен беспечно дожидался попутного поезда. Ему была даже приятна эта нечаянная оттяжка: с каждым биением времени он все сильнее тосковал по неведомому Гуляйполю, и это была тоска крылатая, сладкая. Хотелось еще сидеть здесь, на газоне, а потом, когда не станет сил тосковать, очутиться волшебным образом, минуя Пологи на Конке-реке, в Гуляй-Поле... Представляя себе все это, Семен вздыхал удрученно: он не верил в волшебство, Пологи на Конке-реке были неминуемы.

Состав подали под утро. Стоя в тамбуре, стиснутый, как книжная страница посерединке тяжелого тома, Семен встревоженно вертел головой: неужели вся эта людская туча едет в эти самые конские Пологи? Зачем? Ведь там рядом Гуляй-Поле... Семену была противна и кошунственна сама мысль о том, что он войдет в махновскую столицу не одиноким искателем воли, а в окружении этих мешочников и корзинчиц.

Он вертел головой, прислушивался — но обремененные имуществом попутчики не упоминали в своей пустой болтовне ни Нестора Махно, ни его столицы. Предметы куда более приземленные занимали их воображение: добыча мануфактуры, цены на мед и расстроившееся здоровье какого-то кума Федора... Семен уставился в грязно-зеленую стенку тамбура и ухмыльнулся дикою ухмылкой: это ведь только подумать — в какой-то полусотне километров от Гуляйполя эти люди обсуждали неблагоприятные обстоятельства здоровья кума Федора! Их ничуть не волновала ни безвластная свобода, ни вольный и достойный труд. А ведь это ради них Махно дрался с царем, с большевиками, с Петлюрой, со всем светом. Несчастные, слепые люди! Ведь ради них и он, Семен Веселовский, едет сейчас в Гуляйполе в вонючем тамбуре. А они не желают ни трудиться, ни воевать ради самих себя. Они готовы рисковать жизнью за свое добро, за лишнюю черную копейку — только не за всеобщую справедливость, по которой так истосковался мир... И Семену до слез стало жалко этих чужих людей, беспутных, ему хотелось любить их, ему казалось, что он их любит. Он просто не мог их не любить, у него не было другого выхода — иначе зачем он ехал тогда в Гуляйполе, к Махно? Если бы не они, вот эти, — он остался бы дома, с

родителями и сестрой, и Женюра сейчас пекла бы ему пирожки с капустой и луком.

Здесь, в прыгающем тамбуре, среди людей, дурно пахнущих, Семен Веселовский с удивлением и благодарностью понял, что свобода лишь для себя ему недостаточна, что ему нужна свобода — для всех. И открытие, пришедшее к нему посреди Поля, наполнило его слезным теплом и нежностью, опухенной сладкой кровавой пеной.

К Гуляйполю Семен подходил после полудня, по крепко сбитой грунтовой дороге, красно-коричневой, расцвеченной кое-где золотистыми пятнами, оставшимися от дочиства расклеванного птицами лошадиного помета. Дорога была пустынна — ни людей, ни фур, и Семену это было приятно: при первом свидании с Гуляйполем он не желал свидетелей. Он не стал бы — да и не смог бы, если б и хотел, объяснять это нежеланье: он просто приготовился к этой встрече, приговорил себя к этому безоглядному сватовству — и никто не должен был ему мешать своим докучливым присутствием. Только он сам — и Гуляйполе, и это все. Встреть его на околице прославленного села батька Махно на своей тачанке — Семен был бы слегка раздосадован: Гуляйполе — незыблемый знак будущей справедливости, а Нестор Махно всего лишь человек-герой. Гуляйполе породило и анархию, и Махно, и поэтому пусть сначала будет знак, а потом уже человек на тачанке.

Семен шагал, загребая ногами теплую пыль Поля. Отошедшая от городского ботинка подошва мешала ступать, но Семен не обращал на это внимания. „У коня четыре ноги — и то засекается”, — по-кавалерийски подумал он и счастливо улыбнулся сам себе — от неохватности будущего. Он огляделся: справа от дороги краснели крыши какого-то хутора, за ним свежим свинцовым срезом поблескивал в осокорях обмелевший Гайчул. А дорога забирала влево, и там, слева, должны были вот-вот показаться околичные домики Гуляйполя — белые мазанки, как их представлял себе Семен, аккуратные приземистые хатки с аистами на крышах, среди яблонь. Семен вгляделся — ну, где же они, ну, пора! — и увидел вдали цепочку мельниц, похожих на поставленные на попа черные челны, с крутящимися лопастями, лениво и

бесстрастно, как коровы свою жвачку, пережевывавшими голубой воздух. Это сторожевое ограждение Гуляйполя, мельничное, было неожиданно, и Семен Веселовский усмехнулся чуть потерянно, фыркнул. Башни мельниц, ничего себе! На подступах к бастиону анархизма! Но, может, это военная хитрость, и в перекрестьях мельничных крыльев скрыты пулеметы? Или просто это шутка, наивная шутка с прозрачным намеком? В конце концов, всякая гонка за всеобщей справедливостью — гонка за маревом, за жарптицей. Человек за своим плугом или за своим верстаком — это и есть справедливость: хлеба хватит для жизни и сапог для ходьбы. Чем больше таких людей, тем больше справедливости. Махно понимает это лучше, чем другие. А мельницы? А мельницы, может, просто мелют зерно на муку и больше ничего.

За мельницами показались и хатки, и выглядели они так, как их представлял себе Семен Веселовский: в садах, с аистами. Где-то здесь, в нищей халупе кучера Ивана Михненко, родился на свет мальчик Нестор, и овдовевшая через год после рождения пятого ребенка Михниха побиралась по дворам добрых и недобрых людей Гуляйполя. Семен озирался по сторонам, гадая: где эта улица, где этот дом? И приятно было бродить вот так, никого не расспрашивая.

На пересеченье двух окраинных улиц Семен увидел повешенного на дереве человека. Руки повешенного были связаны за спиной, раздувшиеся синие ступни далеко торчали из штанин. На груди трупа белела на бечевке фанерка, на ней значилось: „Антисемит-погромщик”. Стараясь не глядеть в лицо казненного, Семен прошел мимо и прибавил шагу. Когда его повесили? Кто? Почему не снимают? Не жалость испытывал Семен Веселовский, глядя на мертвое тело, а страх, страшок — как будто свистели вокруг пули и рвались снаряды и мины. И в шинок, пеньком торчавший в пыльном саду, в начале улицы, он вошел торопливо и безоглядно, как в укрытье.

Посетителей в зале было не густо, пили здесь водку, в глубоких тяжелых тарелках дымились крупные с кулак зразы. Сев в глубине, в углу, Семен спросил пива. Корчмарка — пожилая усатая еврейка — принесла ему, удрученно вздыхая, высокую глиняную кружку, суживающуюся квер-

ху. Сдунув пену, Семен поднес кружку ко рту и, ощущая губами приятную шероховатость ободка, длинными и сильными глотками выцедил пиво до дна, поставил кружку на стол и огляделся, отдуваясь. И, словно ожидая этого взгляда, поднялся из-за дальнего длинного стола мужичок и подсел к Семену.

— Не возражаете? — придвинув уже табурет к столу, справился мужичок. — Терентий я, местный человек и старожил. А вы приезжий будете?

Терентий был слегка пьян. Корчмарка, проходя мимо с пустыми тарелками, укоризненно взглянула на него и гулко вздохнула.

— Серчает Мордковна, — не дожидаясь ответа, сказал Терентий и улыбнулся совершенно беззаботно. — У ей глисты, вот она и серчает.

— Приезжий я, — сказал Семен. — Точно.

— Вы не смотрите, что я вот так взял да и подсел, — продолжал Терентий. — А то еще подумаете — мол, на выпивку. Нет, у меня деньги есть! — Он вытащил из кармана обвисших штанов несколько смятых бумажек и показал Семену, и Семен, с любопытством разгладив на столе незнакомую кредитку, обнаружил диковинную надпись: „Эти деньги обеспечиваются головой того, кто отказывается их принимать”.

— Это наши денежки, гуляйпольские, — объяснил Терентий и снова улыбнулся — то ли с насмешкою, то ли просто от легкости души. — Батько Махно их печатает, Нестор Иваныч, чтоб не попутали с кровавыми буржуйскими. Но кровавые у нас тоже берут, покамест все буржуи не перевелись... Эй, Мордковна, тащи-ка еще пивка вот!

— Так вы, значит, местный, — дружелюбно глядя, сказал Семен. — Все здесь знаете.

— Все чисто! — готовно подтвердил Терентий. — Я и свести могу, кому куда надо, и просто лясы поточить со всяким человеком, особенно приезжим. — И, наклонившись к Семену через стол и понизив голос, добавил: — По умеренной цене.

— Тогда скажите, — также еле слышно спросил Семен, — кто это там человека повесил, с фанеркой такой на груди?

— Батько Махно повесил, — легко, как об обычном, сказал Терентий. — Чтоб трудящихся евреев не забижали и не резали.

— Сам? — сглотнув воздух, сказал Семен. — Сам повесил?

— Не, зачем сам! — протестуяще повел головой Терентий. — Его тогда и в Гуляйполе не было, он фронт тогда держал... Коган Янкель повесил.

— Кто это — Коган Янкель? — продолжал спрашивать Семен.

— Как кто! — удивился Терентий. — Заместитель Нестор Иваныча по райсовету, вот кто! Этот, которого повесили — он в Третьей Коммуне у еврея у одного все дочиста отобрал: и часы, и сапоги с галошами, и самого его зарубил и в колодец кинул... Вот как было дело.

— Он махновец был? — спросил Семен. — Этот?

— Еврей-то? — уточнил Терентий. — Он коммунар был, с Третьей Коммуны.

— Да нет! — тихонько прихлопнул ладонью Семен. — Этот!

— А, этот... — понял Терентий. — Сидоровец он был, а когда Нестор Иваныч атамана Сидорова в прошлом месяце кончил, то он в махновцы записался.

— А вы — махновец? — с надеждой спросил Семен.

— Инвалид я, — ушел от прямого ответа Терентий. — Но — махновец, да, потому что я тоже буржуев ненавижу, которые не работают, а только деньги загибают и властвуют: делай то, делай се... Я — свободный инвалид.

— А тот еврей, которого в колодец бросили, он был богатый? — допытывался Семен. — Буржуй?

— Да какой там!.. — снисходительно усмехнулся Терентий. — Они в коммуне все одинаковые: работай да ешь. У них там все поровну, только беду-то поровну делить не научились: одному больше, другому меньше. Вон еврея зарубили, а другой цел остался.

— Там что, все — все евреи, в Третьей Коммуне? — предположил Семен.

— Зачем все! — отвел Терентий. — Не все. Разные там. А национальностей нету никаких, национальности только у богатых бывают, и за это их — р-раз, р-раз! — Терентий крест-

накрест взмахнул рукой, как будто в ней зажата была шашка.

И Мордковна, стоя на пороге кухни, вздохнула переливчато.

— Может, вы голодны? — вздохнул и Семен. — Есть хотите? Зразы?

— Сыт я, — строго глядя, сказал Терентий. — Но зразы — можно.

Под зразы выпили и первача, и разговор опять пошел скакать с камня на камень.

— Здесь, значит, в Гуляйполе богатых совсем не осталось? — спросил Семен. — Были же!

— Зачем не осталось! — возразил Терентий. — Остались еще... Те, которые с народом сами делятся — те живут себе. А другим тоже намек дашь, а они не понимают. Таких непонятливых у нас уже не осталось ни одного: кто сам ушел, а кого судом судили. А как же!

— Ну, сами-то едва ли!.. — покачал головой, усомнился Семен.

— Почему это! — как бы даже и обиделся за богатых земляков Терентий. — А Кернеренко Грицько! — И взглянул на Семена — знает ли, кто таков этот Грицько.

— Кто это? — не знал Семен.

— Поэт наш, песни пишет! — объяснил Терентий. — Богаче этих Кернеренков в Гуляйполе никого не было: у них и завод, и паровая мельница, и магазин, и земли десятин пятьсот. А когда еще сам Семенюта, годов десять назад, намек дал: клади, мол, Грицько, на стол тысячу рублей на мировую революцию! — так тот пятьсот сразу положил, а больше у него тогда не было. И это получилась первая экспроприация у нас в Гуляйполе, а на второй уже застрелили стражника.

Поглядывая на Семена — попросит ли продолжать, — Терентий подобрал хлебушком подливку и отправил в рот. Семен ждал терпеливо.

— На эти кернеренские деньги, — продолжал Терентий, — Семенюта с Антони купили специальную машину — прокламации печатать. А потом все стали читать эти прокламации про анархию и народную волю.

Владимир Антони, братья Семенюта. Эти имена были для Семена Веселовского и оперной музыкой, и громом

небесным — вместе. Имя поэта Грицько Кернеренко не говорило ему, однако, ничего. А ведь именно с ним, богачом и филантропом, бескровной и, быть может, добровольной жертвой первого экса связано, как это ни парадоксально, зарождение практического анархизма. Это ведь для истории — клад! Ну, не клад — так находка.

— А что же с этим поэтом? — спросил Семен. — С Грицько?

— Живет здесь, — сообщил Терентий. — Он, вообще-то, не Кернеренко...

— Как так? — удивился Семен.

— Да так... — сказал Терентий и взглянул на Семена чуть-чуть настороженно. — Кернер он, Григорий Борисович. Папаша его у нас тут в синагоге в первом ряду сидит.

„Герш Борухович, — почему-то обрадованно отметил про себя Семен и тут же устыдился этой своей несвоевременной радости: — Какая разница, в конце концов, еврей или не еврей первым дал деньги на анархистское движение!“ Но приятное ощущение, вопреки самоуговору, сохранилось в душе.

— Они... дружат? — слегка замаявшись, спросил Семен. — Нестор Иванович с этим поэтом?

— У всадника с конем какая дружба? — усмехнулся Терентий. — Всадник едет, конь везет и еще вирши сочиняет: „Черное знамя, алое пламя...“

„Виршеконь, — с симпатией к сочинителю подумал Семен. — Бедный еврейский Гершеплет“, и спросил: — А дружит с кем-нибудь Нестор Иванович?

— Дружит, конечно, — пожал плечами Терентий. — С Каретником с Семеном, с Зеньковским — его еще Лева Задов зовут. А другие погибли. Шнайдера вон Абрама деникинцы под самым Гуляйполем порубили со всем отрядом... Да у него времени нет — дружить-то! — вдруг внес поправку Терентий. — Вот кончится война, тогда можно.

— А... где он? — наконец решившись, спросил Семен. — Нестор Иванович? Если это, конечно, не секрет.

— Почему секрет? — выгнул брови Терентий. — Никакой не секрет это... Он сегодня в Покровском сидит, в коммуне — тут, за Гуляйполем. Сегодня что у нас? — ища ответа, Терентий оглядел комнату и остановился озабоченным взглядом

на вздыхающей, как испорченный насос, Мордковне. —
Среда? Он по средам там сидит, в коммуне.

— Принимает вообще-то? — разведал Семен.

— Он не царь, — твердо сказал Терентий, — чтоб принимать или там не принимать. К батьке Махно кому надо — те идут.

— Мне надо, — сказал Семен Веселовский и поднялся из-за стола.

4. МАСТЕР

Дорога? Дэр вэг? Шлях? Этот широкий золотистый путь, ведущий в Покровское, Семену Веселовскому хотелось все же называть по-украински — шлях.

Высокая деревянная арка радугой выгибалась над дорогой, на фанерном щите чернели буквы „Сельскохозяйственная коммуна № 1”. По сторонам от надписи местный умелец изобразил в красках сеятеля с лукошком и кузнеца с молотком. Остановившись перед аркой и задрав голову, Семен рассматривал изображения: русоволосый земледелец в красной рубахе был беспечен и здоров, а старательно закопченный мастеровой со своим молотком имел угрюмый вид.

За аркой, невдалеке, плоско краснела, словно прислоненная к сильной зелени вязов, кровля кряжистого барского двухэтажного дома, с опоясывающей по фасаду террасой. Загрывая отошедшей подметкой песок и пыль дороги, Семен двинулся к усадьбе. „Башмак каши просит”, — пришло ему в голову далекое, детское, случайно слышанное от кого-то, и он огляделся: найти бы какую-нибудь веревочку, подвязать, а то мешает проклятая подметка. Да откуда тут взяться веревочке...

Но и встречных не было никого, и Семен, поравнявшись с домом, по широким каменным ступеням, помнившим иные времена, поднялся на террасу. Там, за длинным столом, похожим больше на козлы с уложенными на них досками,

сидела в тяжелом, обитом гобеленом вольтеровском кресле маленькая старуха в черных стоптанных валенках с отрезанными голенищами. На струганой белой столешнице стояла перед старухой глиняная миска с молоком, там плавали островки размокшего хлебца. Независимо поглядывая на Семена, старуха сунула в миску коричневую лапку, выловила островок и аккуратно, не лья и не пачкая, перенесла его в рот.

— Здравствуй, бабуся! — остановившись у стола, сказал Семен.

— Также и ты, сынок, — не задержалась с ответом старуха и поправила вдовье платье на коленях.

— Ты тут... работаешь? — не найдясь, как бы помягче подъехать к старухе с ее миской, замаялся Семен. Вопрос, действительно, вышел нелепый: в опорках, в вольтеровском кресле старуха непохожа была ни на работницу, ни на сторожуху.

— Я свое отработала, — приветливо сказала старуха. — Дети мои тут в коммунии, а я при них кормлюсь на пензиях. Зубы-то я съела, вот на молочке сижу — а у нас в котле и мясо, и все.

— Что ж ты детям не варишь? — сам не зная зачем, спросил Семен. — Они работают — а ты бы варила, помогала.

— Ты не знаешь — и не говори! — назидательно сказала старуха. — У нас тут котел общий: как время пришло — иди в столовую и ешь, что дают. А я посуду мою, а потом, вишь, сижу на балконе, отдыхаю.

— Все вместе едят, что ли? — уже с интересом спросил Семен.

— Все как есть! — подтвердила старуха. — А если кто не хочет или болеет, тот домой берет и там уже ест.

— Вот как... — то ли поверил, то ли не поверил Семен. — А начальник, бабуся, — где он тут сидит? Самый главный?

— Нету, нету! — как на беса, замахала руками старуха. — Слова такого не говори! Мы тут, как в церкви — все равные.

— А — Бог? — щурясь, спросил Семен.

— Бог-то на небе сидит, — упрямо сказала старуха, а мы — в Покровском. Он-то нас видит, а мы его — нет.

— А раньше по-другому было? — не отставал Семен.

— На небе не по-другому, — сказала старуха и немного помолчала, втянув кожаные коричневые губы в пустой рот. — А в Покровском по-другому: я тут на балконах не расслаживалась. Другие расслаживались.

— Спасибо... — подумав, сказал Семен. Ему вдруг сделалось вольно и светло, он по-журавлиному наклонился над старухой и поцеловал ее в голову, в строгую тропку меж разъятыми на стороны, редкими масляными волосами.

— Тебе к Нестор Иванычу, — сложа руки на коленях, убежденно сказала старуха. — Вон там домик — видишь? Туда иди, там он.

Домик оказался кирпичным сараем с пристроенной к нему фанерной будкой. В прохладном сумраке сарая неровно громоздилась пара плугов, по стенам на колках развешана была рабочая конская сбруя. Жужжали шмели под высокой крышей, меж натянутых лент пыльного солнечного света. В будке кто-то кашлял, кто-то постукивал по-мягкому.

Обогнув сарай, Семен заглянул в тесную будку. Там, на низком табурете, ссутулившись над сапожницей ногой, сидел пышноволосый человек в фартуке и заколачивал в рант разбитого сапога намыленные деревянные гвоздики.

— Здравствуйте... — стоя в дверях, сказал Семен.

— Здравствуйте, товарищ, — откликнулся мастер и, не поднимая лица от работы, указал черенком молотка на разъявленный Семенов башмак: — Давайте обувь.

Сказано это было тоном бесприветливым и твердым, приказным, как будто сапожник завеской своих волос, закрывавших лицо, отгородился от всего света — но тут досадно явился Семен Веселовский с разодранным башмаком. Привалившись плечом к дверному косяку, Семен послушно разулся.

— Вам срочно, товарищ? — разглядывая башмак и обтирая с него рукой пыль, все так же строго спросил мастер.

— Да не так, чтобы... — промямлил Семен, томясь на одной ноге. — Но, вообще-то... Я к товарищу Махно Нестору Ивановичу.

— Так это я, — сказал мастер и разогнулся наконец, отмахнул волосы, и Семен увидел круглое лицо человека лет тридцати, с широкими скулами и юношеским нежным носом, с гладким безмятежным лбом, под которым глубоко и

неуместно на этом лице гнездились пристальные, неотвдимые, припорошенные то ли недосыпанием, то ли давней усталостью глаза.

— Вы... — выдавил Семен, — батько Махно?

— Я, — серьезно подтвердил мастер, а потом, помолчав, улыбнулся — когда Семен уже и ждать забыл эту улыбку, столь, казалось бы, естественную в таком положении. — Без мандата не доверяете?

— Да нет... — смешался вконец Семен Веселовский. — Просто — тут, и...

— А сапожничать, между прочим, трудней, чем из пулемета строчить, — приглушив улыбку, сказал Махно. — Вы из пулемета умеете?

— Нет, — качнул головой Семен. — А... это вы свои сапоги чините? Собственные?

— Мои сапоги хорошие еще, крепкие, — Махно выпростал ноги из-под длинного фартука, показал. — Это Швейцера Ефима сапоги, механика. А вы, товарищ...

— Семен Веселовский, — готовно информировал Семен.

— ...товарищ Веселовский, что умеете делать? Вы ведь городской? — Махно аккуратно, как бритовкой по линейке, повел по нему взглядом, и Семен напрягся, застыл: царапины не остались ли на коже?

— Я в университете учился, — сказал Семен, — а потом революция, война... Не закончил — не успел.

— У нас раненые есть, — прилаживая рант к подметке, сказал Махно. — Вы не по этой части?

— Нет, по адвокатской, — словно бы сожалея и извиняясь, сказал Семен.

— Ну, что ж, — из-за волосяной завесы сказал Махно. — А вы хотите здесь остаться, в коммуне, или в армию идти?

— Да я... — замялся Семен. — Где больше проку от меня... — Он вдруг с огорчением, почти детским, почувствовал себя чужим здесь, и это представилось ему неисправимым, бесповоротным. Да и стыдно все это складывалось: прийти к батьке Махно — и копать на огороде или вот гвозди в башмак заколачивать.

— Сегодня все воюют, — методично работая молотком, продолжал Махно. — Но война кончится когда-нибудь, а коммуна останется: есть-то надо людям, а война людей моло-

тит, а не хлеб... Вы сами решите — а потом скажите. Я вас не заставляю, нет, никто не смеет заставлять другого человека, если он не хочет. Убить — да, можно, когда он враг и идет такая война, а заставлять — нет, нельзя, это получится и не по-людски и против природы.

— А — наказывать? — несмело спросил Семен Веселовский. — Можно?

— Это потом, — пожал плечами Махно. — А в войну какое наказание?

— Смерть? — угадал Семен.

— Получается, что так, — сказал Махно и взялся намыливать дратву. — Вот я вам и говорю: в коммуне все своим делом заняты и никто никого не наказывает. Я пойду в коммуну, как война кончится: лучше места нет.

— А если другим лучше в городе? — возразил Семен. — Тогда как?

— Так ведь из белого света одну большую коммуну не построишь, — сказал Махно и добавил глухо, сухо: — А жалко...

— А разъяснительная работа? — зажегся Семен. — Человек ведь должен понять, если он не знает...

— Человека, товарищ, не переделаешь, — насупился Махно. — Человек в лавке, допустим, сидит и торгует, ему тепло, он в коммуну не пойдет. А что другому холодно — так ведь это не ему.

— А если лавку — закрыть? — предложил Семен. — Отобрать?

— Отобрать, конечно, можно, — принял Махно. — Так этот человек воевать пойдет за свою лавку, за кило сахара он, может, хорошего человека случайно убьет.

— Но война ведь кончится, — сказал Семен. — Вы же сами говорите...

— Кончится когда-нибудь, — пожал плечами Махно. — А что будет потом — вы знаете? Вот я тоже не знаю.

— Вы в коммуну пойдете, — тихонько сказал Семен.

— Хорошо бы... — сказал Махно. — Вот только получается, что и революция, и война — все ради одного человека? А?

— Я старуху видел на террасе, — осторожно поправил Семен, — ради нее тоже.

— Одна старуха на сто лавочников, — мутно, как о давно сосчитанном, сказал Махно. — Мало... А остановиться сейчас — и старухе той придет конец: чего на господской террасе расселась?

— А можно спросить, Нестор Иванович? — тихонько попросил Семен Веселовский, пытаясь заглянуть в опущенное над работой лицо Махно.

Махно вскинул взгляд досадливо, кивнул:

— Разговор у нас идет, товарищ. Мы ж не песню хором поем!.. Раз разговор — спрашивайте.

— Вот-вот, — заспешил Семен, — вы со мной тут разговариваете о таком важном, а даже не знаете, кто я такой. А если б на моем месте стоял — враг?

Махно дотошно оглядел неловко стоявшего на одной ноге Семена и улыбнулся, как удачной легкой шутке:

— А ото всех врагов все равно не опасешься, на то она и жизнь. Так что ж — навесить замок на рот и всю жизнь молчать или на собраниях выступать, под охраной? С живым человеком вот так потолковать — это ведь тоже счастье.

— А время! — продолжал свое Семен. — Вы же время свое на меня тратите, жалко ведь. Вы могли бы думать, записывать что-нибудь...

— Я тут, в коммуне, раз в неделю сижу, — вытерев руки о фартук, сказал Махно, — работаю по сапожной части или при механике Швейцере Ефиме помощником. Время есть и подумать, и поговорить. А записывать не умею я толком, другие люди записывают — у меня их целый отдел в армии, и газеты. Вот вы, товарищ, хотите в газете работать?

— А если в газете, — спросил Семен, — можно, как вы, раз в неделю здесь, в коммуне, быть?

— Это можно, — сказал Махно. — Можно даже тут жить, а работать в газете, если кто хочет.

— А в армию, значит, никак нельзя? — с последней надеждой спросил Семен.

— Да это и есть армия, — объяснил Махно. — Воевать всем приходится: вышел в Поле — вот и война. Здесь, в коммуне, кто не инвалид — тот и солдат.

— Значит, можно здесь научиться, — смиряясь, сказал Семен. — Стрелять, и... ну, всему, чему полагается.

— Научат, — успокоил Махно.

— А проверка? — спохватился Семен. — Меня ведь надо проверить?

— Проверят, — сказал Махно. — Всех проверят, вы не беспокойтесь... Нет, пожалуй, всех не проверишь. А? Вы как думаете? — пройдясь по желтой коже Семенова башмака крепкой маленькой ладонью, он взглянул серьезно, ждал ответа.

— Всех не проверишь, — подумав, согласился Семен. — Одного — и то до конца проверить трудно.

— Да, верно, — кивнул Махно и закашлялся и стиснул горло левой рукою, как бы запирая в груди этот кашель, этот хрип. — Для проверки тоже специалисты нужны, это верно, тут образование надо. — И, прокашлявшись, добавил вдруг, а как бы и не вдруг: — После вас, образованных, столько всякой бумаги остается: письма, заметы, записки всякие. А после нас — пара сапог, и не всегда... Нате, — он протянул Семену ботинок, — держите!

Поспешно обувшись и потопав под пристальным взглядом Махно, Семен открыл было рот спросить, куда ему теперь идти и что делать, но так и не собрался — Махно заговорил снова:

— Если вы, товарищ, решили в газету, то часа через два идите в контору и спросите там Задова, он вам все объяснит.

— А можно мне записать наш разговор? — спросил Семен Веселовский. — Вот, о чем вы говорили?..

— Запишите, — без улыбки пожал плечами Махно. — Может, эти бумажки ваши кому-нибудь на глаза попадутся когда-нибудь, если в огне не сгорят... А слевой Задовым разговор не записывать, это нельзя.

— Спасибо, Нестор Иванович, — сказал Семен, вытискиваясь из сапожничьей будки.

Махно коротко кивнул, завеска его волос по-конски дрогнула надо лбом.

5. ЧЕРТ ЗАДОВ

Задов Лев сапоги не тачал и, предпочитая реченое слово письменному, записей не вел: не доверял бумаге. Во всем мире начальник контрразведки Лев Задов безоговорочно и упрямо доверял лишь Нестору Махно.

Мир, граничивший с Гуляйполем и раскинутый по направлению к Александровску, к Умани, к морю и дальше, далеко, — этот мир не составлял для молодого Задова интересной тайны, которую следовало бы распечатать, раскрыть и разгадать. Особенности рельефа занимали его лишь постольку, поскольку обеспечивали вольный бег тачанок батьки Махно. Горы, море и лесные заросли для этой цели не подходили вовсе и поэтому являлись как бы досадными вкраплениями между степями, во вселенском Поле. Люди — объект пристального внимания и наблюдения начальника контрразведки — жили, правда, и в горах, и в лесах, да. Но люди эти — лесовики ли, горцы ли — совершенно не отличались друг от друга или от жителей Поля: кожа их была столь же чувствительна к ожогам и надрезам, душа столь же изменчива, а жизнь и смерть столь же случайны. По долгу службы сталкиваясь со многими людьми, Лев Задов оценивал их и классифицировал с позиций вполне профессиональных, и эта задовская черта казалась постороннему наблюдателю циничной и отчасти даже страшной. А иные, глядя впервые на Задова, пугались до оцепенения: горбатый его, с острым хребтом нос, густоторчащие волосы, как чер-

ные сбитые сливки высоко пенящиеся над кружкой головы с фарфоровой лепки, маленькими и нежными ушами, с горячими на холодном лице сухими глазами, сверкающими неуместным для его роли весельем, — все это вызывало замешательство немалое и внезапную слабость в членах: тьфу, тьфу, спаси, Господи!

Увлечений у Задова не было: он ничего не собирал, бабочек не ловил и пил в меру. Внешностью своею, диковинной для этих мест, втайне гордился и ставил ее высоко: да, вот я какой, Лева Задов! Да и неблагозвучный свой псевдоним бывший ученик гуляйпольского еврейского ремесленного училища Лева Зеньковский выбрал ради озорства: я вам не Булатов, не какой-то там ватный Железнов, не Лютый, я — Задов. Вот ведь и Махно в царском подполье назывался всего-навсего — Скромный.

Ловля нехороших, вредных людей целиком захватывала Задова. То была для него не рутинная контрразведывательная служба — он вкладывал в дело любознательную душу, не отягощенную ни любовью к женщине, ни воспоминаниями о прошлом. Неочерченное будущее тоже его не занимало, тем более что и сам Махно не имел четкого о нем представления, нерушимо убежденный лишь в том, что безвластная сельхозкоммуна — это хорошо. А Задов в коммуны идти не собирался и вообще сомневался в том, что мир без власти простоит, как это и ни горько. Задов не верил во всеобщую справедливость, в силу своего знания людей. Он и с Махно ненавязчиво делился этим своим неверием, но тот только отворачивал свою большую голову: не желал слушать. Знал Махно, что и каждый сотый не пойдет своей волей в сельхозкоммуны — чем вольно трудиться, человеки лучше лавки пооткрывают, перекупать-перепродавать станут, жулить и лукавить. А властью, силой загонять дурней слепых в коммуны Махно не хотел, мысли такой не подпускал. Даже ради их же счастья, даже ради самой идеи свободных крестьянских товариществ — нет, нельзя, раз не хотят!.. О чем же спорить тогда с Задовым? И Махно отворачивал голову, сумрачно думая о том, что нет, не угнезятся, не устоят на золотой земле Поля вольные коммуны. А где устоят? Не зная ответа, Махно с мужицким упорством, как пули в живое мясо, вгонял сапожные гвозди в мертвую кожу.

А Задов был — артист, нерв. Его роль была играть тень Махно, и то была нелегкая роль.

В конторе, куда Махно послал Семена Веселовского, за круглым столом на птичьих бронзовых ножках сидел счетовод и вдумчиво кидал на счетах.

— Задов? — переспросил счетовод, подымая глаза от работы. — Задов... Он в обед заходил и пошел в артель, там его ищите, товарищ.

— Артель? — в свою очередь переспросил Семен. — Какая артель? — Он был уверен, что вся коммуна — это и есть артель, и ответ счетовода поставил его в тупик.

— Ну, артель, — повел рукой счетовод. — Фабрика наша, по-старому... Идите вон через сад, там увидите.

Раздумывая над тем, что делает начальник контрразведки Лев Задов на фабрике и что это вообще за такая крестьянская фабрика, Семен миновал яблоневый сад, пересек выгон, закапанный ржаными коровьими лепешками, и подошел к высокому большому сараю, у припахнутых ворот которого сидел на чурбаке вооруженный человек вполне разбойного вида. Пулеметная лента была перекинута через молодецкое плечо этого человека, усы его неприступно торчали, а на сильных спокойных коленях лежала сабля, как спящий ребенок. Темляк низко свешивался, к шелковому в палец толщиной портьерному шнуру была привязана распушенная лазоревая кисть.

— Куды? — зорко глядя, задал вопрос вооруженный человек.

— К Задову я, — поспешил с ответом Семен.

— Кто послал?

— Батько...

— Лева! — не подымаясь с чурбана, позвал вооруженный. — Тут к тебе...

И в ответ на зов, без промедленья возникла в темном проеме ворот сухошавая ладная фигура в зеленом френчике, в мешковатых кавалерийских штанах табачного цвета. С интересом оглядев Семена Веселовского с головы до ног, Задов вытянул из кармана штанов свежий платок с монограммой, гулко, в два отрывистых удара выбил нос и сказал:

— Представьте, я не Шерлок Холмс, но вы из города. — И улыбнулся, и чуть наклонил голову к плечу, как будто

принимал благодарность зрительного зала за удачную реплику.

— Из Веселó, — не зная еще, как себя держать со страшным Задовым, сказал Семен. — Слышали?

— Ну, как же, — сказал Задов. — Весело... — И вдруг как бы окаменел на миг, мимоходом. — Фамилия?

— Веселовский, конечно, — неуверенно улыбнулся Семен.

— У вас там красные? — Задов сложил губы трубочкой, а потом потянул воздух сквозь зубы. — Погром? Знаете? Когда вы оттуда?

— С неделю уже, — сказал Семен.

— Так не знаете?

— Я уходил как раз ночью, когда они пришли, — сказал Семен. — Но нас обычно не трогают — семью, я имею в виду.

— Ну, ладно, — сказал Задов и сощелкнул божью коровку с Семенова рукава. — Нет — так нет... Зайдемте в цех.

В сарае стоял прохладный воздух, приятно пахло стружками и колесной смазкой. Посреди сарая двое плотников обшивали досками ребра телеги, узкой, как ладья. В задке телеги помещался квадратный пулеметный помост, насаженный на железный штырь.

— Ну, как вам тачаночка? — походя поворачивая помост на его оси, с гордостью спросил Задов. — А?

— Красивая, — сказал Семен, как о большой игрушке или пестром осеннем кусте на берегу степной реки.

— Вот именно, что красивая! — подхватил Задов. — Вот верно! А Григорьев танк подарил Нестору Ивановичу — танк что? Рак железный! Нестор Иванович посмотрел и говорит: у нас вся тачаночная артель шесть плотников да кузнец, а мы тачанками и Деникину брюхо вспорем, и Буденному. А танк этот тысяча человек делает, в цеху грохот, ад, воняет, начальники ругаются — и что? Тысячу рабочих высосали, потом тысячу бойцов уложат. Зачем заводы эти строить? Только людей мучить и убивать. Так что ж — воевать-воевать, новый мир строить от самого котлована, — а потом народ на заводы загонять? Нет, это не для Гуляйполя, тем более что тачанка в бою куда удобнее и никакого угнетения при ее производстве нет, — так он сказал, Нестор Иванович. А вы что скажете? — Задов ждал, хмурил лоб под черной пеной волос.

— А откуда у него танк взялся, у атамана Григорьева? — сказал Семен.

— У французов под Одессой взял, — сказал Задов и улыбнулся. — И даже спасибо не сказал... Но это ему не поможет — он шакал. Нехороший человек.

— Он Весело громил, — сказал Семен. — Два раза.

— Ничего ему не поможет, — сказал Задов и повторил: — Шакал. Миша Японец своих блатарей спустил с цепи, они ему хвост отгрызли.

— Япончик? — удивился Семен. — Налетчик? Григорьеву?

— Ну-ну-ну! — сказал Задов и закинул голову, как птица с каплею воды в клюве, — и Семен увидел молочно-белую шею контрразведчика и трепетный бугорок кадыка на ней. — Миша Японец, по-своему, замечательный персонаж. Нет, не совсем Робин Гуд и Спартак Джованьоли, этого я не скажу вам. Бандит? Да. Но если, как говорится, залезть на чужую печку и оттуда посмотреть, так каждый человек с наганом — немножко бандит. Грабит? А кто сейчас не грабит? Или вы думаете, что эти бриджи я купил у модистики? Зато Миша Японец держит самую сильную еврейскую самооборону на всем Юге. Кроме того, он никогда не берет у бедных. А кто, скажите, не берет у богатых, если у бедных ничего нет? Ленин не берет? Деникин не берет? Соломон Крым? Кто?

— Ну, конечно, кто сидит дома... — начал было Семен.

— Мир разрублен на две части, — оборвал Задов и ладонью припечатал по пулеметному помосту, — на тех, кто сидит дома, и на тех, кто не сидит. И кто вышел из дома — уже берет: для себя, для отряда, для светлого будущего — берет! Отбирает! И кто не хочет отдавать, получает пулю вот сюда, — Задов постучал себя собранными в щепоть пальцами по лбу. — Итак, Веселовский?

— Да. Семен.

— Лева, — сказал Лев. — Задов. Идемте сядем. Ваш отец?

— Аптекарь.

— Аптекарь, — повторил Задов и сложил губы трубкой. — Может быть, Сема, мы поедем кой-куда и, может быть, на обратном пути забежим в Весело. Экспромтом.

Он сбросил с верстака ворох душистых стружек и, подпрыгнув, сел.

— Сядьте! — пригласил Задов. — Ваша мать? Братья, сестры? Остались в Весело?

Плотники, осторожно ступая, тащили к тачанке пулемет. За ними долговязый мужик с длинными черными руками, изогнувшись в поясе и далеко откинув тулово, нес ящик с зарядной лентой.

Пароход „Нестор-летописец”, настырно шлепая волглыми плицами, взбирался вверх по Днепру. Парило; матросы в парусиновых робах, лениво переговариваясь, скребли палубу проволочными щетками. На крыше рубки, огороженный мешками с песком, потел у расчехленного пулемета боец в черных кожаных штанах. Такой же, в коже, сосредоточенно сосал сигарку, сидя на зарядном ящике, на корме, привалившись спиной к лафету легкой пушки. Гудели слепни. Солнце висело в зените.

В капитанском салоне — просторном, притемненном спущенными на окнах занавесками помещении, с живописными, третьего ряда, пейзажами на стенах, с вытертым, но чистым персидским ковром на полу — сидел во главе стола человек средних лет, в низко расстегнутой на впалой груди гимнастерке военного образца. У его локтей дымились уха в старорежимном, кузнецовского фарфора супнике, и водка прозрачным столбом стояла в хрустальном графине.

— Ну, давай! — как бы делая кому-то одолжение, сказал военный и поднял рюмку. Острая его ухоженная бородка дрогнула, усы поползли вверх. — Твое здоровье!

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович! — немедля откликнулся его сотрапезник и, широко открыв рот, смаху выплеснул туда водку из рюмки.

— Знаешь, Игнат, — выпив и промокнув губы салфеткой, сказал военный, — а я ведь вместе с ним сидел в Бутырках, с Махно. Вместе и вышли — первого марта семнадцатого. Крепкий орех!

— Раздавим, — бодро сказал Игнат и сдавил наглядно рюмку в кулаке. Потом, коротко взглянув на военного, внес поправку — голосом уже торжественным: — Надо будет — раздавим, товарищ Дзержинский!

— Давно надо было, Игнат, — сказал Дзержинский и замолчал, задвигал желваками, как будто зубами катал этот

самый железный орешек. — Ты здесь сколько сидишь, на Украине — год?

— Месяц еще до года, Феликс Эдмундович, — ожидая укоров, виновато сказал Игнат и втянул в плечи круглую башку, неровно поросшую рыжей шерстью.

— Что ж до сих пор его не взял? — бросил Дзержинский.

— Манцев не приказывал, — виляя глазами, пробурчал Игнат.

— Ты на Манцева не кивай! — фальцетом крикнул Дзержинский, закашлялся, сплюнул в бутылочку и привычно покосился — нет ли крови. — Манцев — политический представитель ВЧК, а ты — оперативный. Ты своей головой должен думать! — Кривя тонкие вялые губы, он иронически глядел на склоненную Игнатову башку.

— Оперативный работник не думает, а действует, — не подымая головы, сказал Игнат. — Вы сами говорили...

— Не совсем точно, Игнат, — усмехнулся Дзержинский. — Я говорил: действует, не раздумывая... Но сначала — слушает! Уши у тебя есть? Или тебе их Махно уже отрубил?

— Не отрубил, — сказал Игнат и взглянул исподлобья.

— Значит, не отрубил, — гася Игнатов взгляд в рыбьем студне своих глаз, сказал Дзержинский. — Тогда, значит, ты слышал, что сказал товарищ Троцкий: нам Украина с Махно не нужна. Слышал?

— Так ведь перемирие подписали, — угрюмо возразил Игнат.

— Ты, что ли, его подписывал? — высоко выгнув брови на желтом лбе, вкрадчиво спросил Дзержинский. — Ты?

— Не я, — признался Игнат.

— Твое дело — приговора подписывать, — удовлетворенно сказал Дзержинский. — А перемирия, запомни, для того и заключают, чтобы их нарушить — вовремя. Нам Украина нужна — без Махно... Налей!

Игнат облегченно вздохнул и потянулся за графином.

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович!.. С Грачевой с этой что будем делать? Вы сказали — обождать...

Дзержинский сунул руку в карман галифе, выудил оттуда за цепочку золотые часы и отщелкнул крышки — на внутренней, тонкой, сверкал мелкими цветными камешками царский орел, на внешней, массивной, было вырезано:

„Председателю ВЧК тов. Ф. Э. Дзержинскому от доблестных ЧОНовцев” — и, отведя руку далеко от лица, взглянул на циферблат.

— Давай ее сюда, — приказал Дзержинский и, убрав часы, застегнул пуговицы на гимнастерке до горла, до прямого стоячего ворота. — Погоди! Ты ее пощупал?

— Побеседовали, — качнул Игнат тяжелой головой.

— Ну?

— Похоже, что чистая, — сказал Игнат. — Сама пришла. В Москву, в театр какой-то хочет.

— Почему? — рыбий студень под тонкими бровями затвердел, пророс ледяными кристаллами.

— Говорит, не понимают ее тут, — сказал Игнат. — Мужичье, мол, сиволапое — им чего? Только пой да пляши. А она, говорит, играть хочет в театре.

— Может, Задов ее подкинул? — помолчав, спросил Дзержинский.

— А зачем ему? — удивился Игнат.

— Ну, меня, например, убить, — Дзержинский выложил руки на скатерть и рассматривал свои ногти — аккуратно подстриженные, девичьи.

— Да как? — взбурлил Игнат. — С чего? Если только, простите за выражение, в кровати загрызет.

— Ты недооцениваешь Задова, — поморщился Дзержинский. — Это штучка!

— Да кто! — бушевал Игнат. — Жид чертов! Клоун!

— Клоун? — переспросил Дзержинский.

— Да он в Одессе в цирке играл! — восторженно орал Игнат. — Да я ему все руки-ноги поотрываю!

Дзержинский зажмурился удовлетворенно: это он сам приказал пустить по Украине слух, что начальник махновской контрразведки работал раньше конферансье в одесском кафе-шантане. Слух пророс. Задов выглядел хорошо, нелепо.

— Ну, ладно, давай ее сюда, — сказал Дзержинский и одернул гимнастерку.

— Лена, — войдя, сказала Грачева. — Я вас знаю. Вы — Дзержинский. Дайте папиросу.

Дзержинский не пошевелился. Игнат широким жестом, игриво протянул женщине коробку папирос.

— Отстаньте! — раздраженно крикнула Лена и добавила сквозь зубы, глядя на Игната дерзко, но без злобы: — Мурло...

— А я вижу, вы приятели, — сухо заметил Дзержинский и снова застыл, обронзвел в своей тесной гимнастерке.

Лене Грачевой, актрисе, можно было дать лет немногим более двадцати. Округлое ее лицо с коротким вздернутым носом, с лениво и надменно разомкнутыми губами не выражало ни страха, ни озабоченности — а только нервическое какое-то, капризное нетерпение. Крупные, чуть навывкате пивного цвета глаза глядели требовательно. Такая женщина способна устроить скандал, или с надменной улыбкой спросить и принять деньги за любовь, или выстрелить в человека — на многое способна такая женщина.

— Вы плохо представляете себе положение, в какое попали, — опершись ладонями о стол, сухо сказал Дзержинский. — Имя?

— Я же сказала — Лена! Лена Грачева! Сценическое имя Франсуаза Вийон.

— Почему Франсуаза Вийон? — несколько озадаченно спросил Дзержинский.

— Так... — дернув плечом, сказала Лена. — А вам что, не нравится?

— Чем занимались у Махно? — недовольно, вернувшись к прежнему сухому тону, спросил Дзержинский.

— Выступала в концертно-полевой бригаде при отделе пропаганды, — скучно, как давно известное, сказала Лена и, подняв руки, переколола шпильку в скользящих русых волосах. — Так сказать, искусство — народу. Противно даже. Искусство ему нужно...

— Русская?

— Какая же еще? — Ее передернуло, как будто ей за пазуху бросили льдинку. — Французы у себя в Париже сидят, а я тут на тачанке мотаюсь по всему Полю.

— Надоело? — с участием спросил Дзержинский.

— Надоело... — сказала Лена и сердито наклонила к плечу красивую голову.

— Вас Задов отпустил? — так же участливо спросил Дзержинский.

— Не-ет, — помедлив, ответила Лена. — А какой Задов?

— А Лева, — сказал Дзержинский. — Лев.

— Разведчик? — еще уточнила Лена, а потом вдруг улыбнулась, как застойной соленой шутке: — Не-ет, он к нам в бригаду не ходил.

— Видели его когда-нибудь? — снова повысил голос Дзержинский. — Сколько вы там пробыли?

— Три месяца, — сказала Лена. — Нет, не видала никогда.

— А слышали?

— Слышала, конечно. Он страшный, говорят, как черт. — Она снова усмехнулась своим ленивым красным ртом, и было понятно, что говорит она о внешности Задова, а не о его работе.

— Вы можете сесть, — предложил, наконец, Дзержинский и бородкой указал на дальний стул. — Так почему ж вы ушли от Махно?

— А потому что я актриса, — выставив ногу в высоком узком ботинке и подбоченившись, сказала Лена. — Театральная актриса, а не какая-то там шутиха деревенская. И хамы всякие пристают. — Она досадливо взглянула на Игната.

— Резонно, — без улыбки кивнул Дзержинский. — Актрисе нужны поклонники. Хотите, я устрою вам встречу с Луначарским? А там уж вы сами смотрите, что дальше делать.

— А можно? — изумленно спросила Лена. — С Луначарским? А пропуск?

— А вы сумеете сыграть роль соблазнительницы? — как бы вдруг засомневавшись, спросил Дзержинский.

— Да это, если хотите знать, мое амплуа, — уговорчиво зачастила Лена. — Конечно, смогу! Что за вопрос! Соблазнить Луначарского — вот это да! Он, кажется, старик?

— Не Луначарского, — ровно глядя, сказал Дзержинский. — Махно.

— Махно... — разочарованно сказала Лена и, наконец, села, откинув подол юбки. — Махно... А зачем?

— Это моя личная просьба к вам, — Дзержинский развел губы в улыбке, выступили ровные желтоватые зубы. — Ну и проверка ваша, если угодно: и как актрисы, и как честного, преданного нам человека. Ведь вы во МХАТ хотите?

— Подпоить его надо, — подал голос Игнат.

— Он не пьет, — повернувшись к Игнату, резко сказала Лена. — И, потом, у него туберкулез. А что, если я заражусь?

— А что, если я прикажу вас расстрелять как махновскую шпионку? — не повышая голоса, сказал Дзержинский. — Вы умная женщина, подумайте сами: почему мы должны вам верить? Вот вы отказываетесь выполнить наше задание...

— А это задание? — вдруг успокоившись, спросила Лена.

— Не поручаю же я вам влюбиться в Махно, — пожал плечами Дзержинский. — Соблазнить! Вы актриса, на редкость красивая женщина, а война — это, в конце концов, тоже спектакль, и я поручаю вам главную роль. И давайте по-деловому — контракт есть контракт: вы выполняете наше задание, мы выполняем ваше желание. Ну? Москва, Луначарский, МХАТ. И вы никогда больше не вспомните об этой вашей первой главной роли. Я вам обещаю это.

— А что за роль? Ну, допустим, соблазнила я его, — она сделала паузу, — а потом? Это же не балет!

— Это не балет, — терпеливо подтвердил Дзержинский. — Это война. Вы поможете нам ликвидировать Махно.

— Да он меня зарубит! — возмутилась Лена. — Саблю возьмет и зарубит!

— Мы вас прикроем, — с нажимом сказал Дзержинский.

— Как это прикроете? — не поняла Лена. Откинувшись на спинку стула, она глядела озабоченно. Предложение стать убийцей Махно не ошарашило ее, и Дзержинский с удовлетворением это отметил.

— Великим женщинам выпадает такая роль, — продолжал Дзержинский. — Женщинам с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Ваши дети будут гордиться вами!

— Какие дети! — сказала Лена и поглядела на Дзержинского как на безумного человека, способного на непредсказуемые поступки. — У меня нет никаких детей!

— После того, как вы сыграете эту роль, — мягко, с нажимом выговаривая слова, сказал Дзержинский, — вас ждут другие: в блеске славы, в театре, в семье. Только искусство возносит человека на недостижимую высоту! И

лет через тридцать я — я! — приду к черному ходу вашего особняка где-нибудь на Петровке и попрошу билетик на галерку... Обещайте мне!

— Обещаю! — мечтательно и жалко глядя своими пивными глазами, сказала Лена.

— Честное слово? — недоверчиво спросил Дзержинский.

— Честное слово... — она вытянула квадратик носового платка из рукава, поднесла его к носу, потом ко рту и так сидела, опустив голову.

— Игнат, я назначаю тебя телохранителем товарища Грачевой, — выдержав паузу, тоном боевого приказа сказал Дзержинский. — Если даже один волос упадет с ее головы, ты будешь немедленно расстрелян. Сразу после выполнения задания ты доставишь товарища Грачеву в Москву. Подготовь проездные документы, я подпишу.

Игнат беспокойно вертел головой, глядел обалдело.

— Вот ваше оружие, Лена, — доставая из ящика стола плоский маленький браунинг, торжественно продолжал Дзержинский. — Скоро он займет свое место на стенде музея Мировой революции... Кстати, из этого револьвера вы можете уничтожить вашего телохранителя, если найдете это необходимым.

— Нет, что вы! — встрепенулась Лена. — Зачем!..

— Он ваш подчиненный, он в вашей власти, — сказал Дзержинский. — А теперь идите отдохните, поспите перед дорогой. — И добавил, глядя, как она берет оружие со стола и легко, летуче идет к двери на своих высоких плотных ногах: — Мне б такую дочку!..

Дверь притворилась. Дзержинский вольно откинулся на спинку кресла и, побряхтывая, расстегнул ворот гимнастерки. Игнат шумно дышал, не подавая, однако, голоса.

— Ты слышал, Игнат, что-нибудь о Максимилиане Робеспьере? — тоном, не допускавшим сомнений в том, что положительного ответа он не дождетя, спросил Дзержинский.

— Не слышал, — лаконично ответил Игнат.

— Уха остыла, — сказал Дзержинский. — Надо подогреть... У меня создалось впечатление, что ты не против

небольшого путешествия с этой дамой, а? Телега, бродячая певичка сидит на сундучке, кучер Игнат погоняет.

— Изнасильничают ее, и вся песня... — мрачно откликнулся Игнат.

— А ты что, ревнуешь? — спросил Дзержинский. — Изнасилуют — злей будет... В конце концов, даже в случае неудачи мы ничего не теряем: ты-то уйдешь, я тебя знаю. Но я не исключаю успеха: девушка подходящая.

— Она и меня снимет — не моргнет, — проворчал Игнат.

— А вот это не в ее интересах, — покачал головой Дзержинский. — В ее интересах ликвидировать Махно и тем оплатить билет в Москву. Интересы вполне базарные, а потому наиболее жизненные для такого склада людей... Но и ты лоб не подставляй!

— На телеге, что ли, ехать? — покорно вздохнув, спросил Игнат.

— Телегу с лошастью купишь и поедешь, — указал Дзержинский. — Действуй самостоятельно, никаких контактов с нашими людьми нигде. Это приказ. Ты на чем-нибудь играешь?

— Что? — не понял Игнат.

— Ну, на гармонии, — нетерпеливо объяснил Дзержинский, — на какой-нибудь балалайке!

— Я на дудке играл в поселке у нас, — смутился почему-то Игнат, как будто спросили его о стыдном. — Так, для удовольствия...

— На дудке... — недовольно повторил Дзержинский. — Ну, ладно. Дудку возьми с собой, может пригодиться: девушка поет, кучер в дудку дует... Кстати, ты знаешь что-нибудь о Франсуа Вийоне?

— Это Грачевой кличка, — добросовестно подумав, сказал Игнат.

— Мы ей другую кличку дадим, — сказал Дзержинский и улыбнулся, и лицо его сделалось мечтательным, светлым. — Пусть будет Роза Кац!

— Знакомая ваша, Феликс Эдмундович? — угодливо хмыкнул Игнат.

— Сегодня у Махно еврею легче, чем русскому, — сказал Дзержинский. — Да и у нас легче... Был бы ты еврей, Игнат, — далеко бы пошел!

Игнат с треском стукнул себя по коленям, засмеялся, стул под ним заскрипел.

— С меня еврей, как с дерьма пряник, — отсмеявшись, сказал Игнат. — Не повезло, можно сказать... Значит, Роза Кац?

— Роза Кац, — повторил Дзержинский.

6. БОГ СОЗДАЛ КРЫМ

Глициния сплошь оплела город, она легко держала его над зеленой землей в своих лазоревых душистых ладонях. Каменные стены Севастополя золотисто просвечивали сквозь матово-голубую патину. Ярая сила глициний была, несомненно, первична, а вознесенные ею тесаные глыбы бастионов и домов — вторичны, а потому незначительны и преходящи. Это успокаивало, умиротворяло. Может быть, все еще как-нибудь обойдется и разумная человеческая природа возьмет верх над гнойным поветрием безумия... Бурцев грустно улыбнулся и отвел бинокль от глаз. Транспортник британского военно-морского флота „Ливерпуль“, ошвартовавшись, покачивался у причальной стенки Французской набережной. Матросы под присмотром дежурного офицера опускали сходни вдоль борта.

— Приехали! — пробасил кто-то за спиной, и Бурцев, не оборачиваясь, узнал Залуцкого, офицера связи из штаба Деникина. — Вы в гостиницу, Владимир Львович?

— Нет, к Субботину, — сказал Бурцев. — Я, знаете, безбагажный.

— Ну, вот, вместе поедem! — не предложил, а постановил Залуцкий. — Вдвое веселей, вдвое дешевле. Дважды два — четыре.

— Как, простите? — глядя поверх очков, снизу спросил Бурцев.

— Я говорю, в четыре раза лучше, — объяснил Залуцкий. — Шутка.

Рядом с громоздким Залуцким Бурцев выглядел еще мельче, еще нескладней.

— Россия, а как бы и не Россия, — указывая на берег, сказал Бурцев. — Слишком красиво. Какие цветы, какие цвета! А — вот не наше: туретчина, татарщина.

— Н-да-а! — упершись взглядом в берег, протянул Залуцкий. — Татарщина-тарабарщина, одним словом. — От него сладко несло не перегоревшим еще коньяком, кофе, нерушимой утренней сытостью. — Вы давненько отсюда?

— Из России? — уточнил Бурцев. — Около года. А в Крыму Бог знает когда был в последний раз.

— Бог создал Крым, а черт — Нарым, — несколько не к месту высказал Залуцкий. — Да вы сами увидите: тут многое изменилось. Соломон Крымом правит, как своим кагалом — ну, кто бы мог подумать?! Но армяшки местные чебуреки жарят совсем неплохо, как в старые, добрые...

— Я, полковник, — Бурцев сердито поглядел на мощное предплечье Залуцкого, приходившееся как раз на уровне его лица, — старые и добрые, как вы изволили выразиться, времена провел отчасти в Сибири, и отнюдь не ради любви к этому краю...

— Ну, пошутил, пошутил! — с искренним огорчением пробасил Залуцкий. — Во глубине сибирских руд... Не обижайтесь на солдата, не берите грех на душу...

Они сошли по сходням, пересекли набережную. Бурцев жадно слушал русскую речь, глаза его за овальными стеклышками очков влажно посверкивали. Залуцкий напевал, трубно надувая щеки: „Пу-пу, пу-пу”.

Подозвали извозчика.

— Родина — это вам, все-таки, не фунт изюму! — устроившись в коляске, заявил Залуцкий, как будто Бурцев только что с пеною у рта ему доказывал, что — нет, фунт. Бурцев погладил на коленях черный поцарапанный и потертый кожаный портфель и, покачав головой, молча поглядел на попутчика. Пегая лошадка бодро трусила в гору, море отдалялось, мельчало, на глазах превращалось в красивое украшение берега. Вплавленный в морское стекло „Ливерпуль” стал еле различим среди других судов; и трудно было принять, что, несколько дней тому назад выйдя из Марселя, эта маленькая серая ракушка привезла сюда, в Россию, Бурцева и Залуцкого и других людей.

— Будете писать о нас, Владимир Львович? — спросил Залуцкий. — Мы тут ваше „Общее дело“ до дыр зачитываем! — Он сказал это тем искательным, подсахаренным тоном, какой давным-давно уже утвердился между российскими читающими и пишущими людьми в разговорах о литературном ремесле.

— Напишем, напишем... — рассеянно ответил Бурцев, глядя на покрытые голубым плетеньем глициний стены особнячков вдоль петливой улочки, по которой они подымались. Стены были выложены цветами, как лазоревым турецким изразцом.

— А я вам, если желаете, материальчик дам, — продолжал Залуцкий. — Писать я, конечно, не мастер — а так, мысли кое-какие. Вы уж сами подправьте для газеты.

— Да? — так же холодно-рассеянно спросил Бурцев. Залуцкий был ему несимпатичен, с его шутками, с этим его то панибратским, то подхалимским тоном.

— Сюда, простите за выражение, интеллигенты со всей России прибежали, — повернувшись к Бурцеву тяжелым корпусом, сказал Залуцкий. — Помогите, мол, господа офицеры, спасите от большевичков! А сами палец о палец не ударят и еще орут в своих газетенках: белые — разбойники, они в Ялте большевика расстреляли без адвоката и без присяжных. Как будто мы наемники, они нам деньги платят и мы обязаны за них воевать. Да что там наемники! Как будто мы, понимаете, вообще два разных народа: они — настоящие русские, а мы сброд какой-то, жмудь, мордва! Для них появиться на публике в обществе офицера — нонсенс, позор! Как будто вот это, — он шлепнул себя по кобуре револьвера, — каинова печать! А как они, скажите на милость, собираются с большевичками справиться — уговорами? Де-мо-кратией? Сами всю эту кашу заварили в столицах — а теперь нос воротят от спасителей отечества...

— Ну, зачем такие высокие слова! — поморщился Бурцев, слушавший внимательно.

— Да как же высокие! — вполголоса возмутился Залуцкий. — Да это они сами придумали, а наши и подхватили: приятно, все же! А им до этих самых спасителей отечества, как до первого фонаря, они просто издеваются. Или вот еще жулье. Тут весь полуостров трещит, вот-вот в море канет — а

они, простите за выражение, гешефты свои устраивают, деньги гребут лопатой, как будто ни войны, ничего. А кто виноват? Опять же офицеры: взятки берут за армейские поставки. Да как же не брать, если дают, беззастенчиво прямо-таки всучивают? Ты, допустим, не возьмешь — так другой уж наверняка схватит и тебя еще дураком обзовет. А попробовали прижать кое-кого из этих деятелей — опять крик на весь мир: где свобода торговли, где конкуренция?.. Ну, и махнули рукой...

— А зачем сейчас деньги? — помолчав, спросил Бурцев. — Им, вам? Все ведь в кабаках не пропьешь.

— Ну, как... — замылся Залуцкий. — А если эвакуироваться? В Европе, сами знаете, не по орденам принимают, а по деньгам. Вот и будет копейка в кармане про черный день. Как говорится, вашим вашево, а нашим — нашево. А то только на бумаге справедливость.

— Справедливости на всех никогда не хватает, — покачал белой головой Бурцев. — Большевики обещают всем по кусочку справедливости, всем поровну — и наивные люди за ними идут.

— Вот-вот! — подхватил Залуцкий. — А тут наши офицеры потревожили немного этих спекулянтов, этих, простите за выражение, жидов, на нашей крови разъевшихся, — и что же? А вот, извольте: разбойники, грабители, запачкали белое знамя! Они-то будут в Париже в кафе сидеть, а мы — улицы мести.

— Вот вы говорите о справедливости, об ответственности, — как бы пережевывая горечь, сказал Бурцев. — Так что — одни евреи наживаются на поставках? А наши с вами русские? Да и время ли сейчас, полковник, для сведения национальных счетов?

— Русские тоже есть, — наклоном головы признал полковник. — Но Троцкий, все же, еврей, и здесь их на каждом шагу...

— Эвакуироваться, вы говорите, — все так же горько продолжал Бурцев. — А большевикам эвакуироваться некуда, у них, в случае проигрыша, выбор узкий: либо стенка, либо петля. И эти младенческие разговоры о справедливости и всемирной революции, которую они ждут, как первые христиане — Мессию: не сегодня, так завтра... У них есть

цель, полковник, маниакальная цель: построить нечто новое, уродливое и страшное на наших с вами костях. А у нас нет иной цели, кроме как усмирить это озверевшее стадо, и мы сами теряем человеческий облик... Зато у нас есть выход: эвакуация.

— Ну, надо же подумать и о завтрашнем дне, — пробормотал Залуцкий. — Бог, Бог, как говорится, да сам лови блох.

Они остановились против двухэтажного особняка с декоративными колоннами вдоль фасада — штаба коменданта города генерала Субботина. Часовой у входа, взглянув на новенький мундир Залуцкого, щелкнул каблуками и отточенно козырнул.

— Вы к генералу? — спросил Залуцкий, когда они поднялись по лестнице на второй этаж. — Тогда вот сюда. Но мы не прощаемся, Владимир Львович, увидимся еще раз — не здесь, так в Париже. Эх, раз, что называется, еще раз, выхожу на Монпарнас...

В приемной перед кабинетом Субботина томилось несколько офицеров, дама в трауре, с серебряной лорнеткой на шнурке, в шляпке с черной вуалью, и штатский молодой человек, почти мальчик, в пиджачной паре, измятость и замызганность которой не затушевывала, однако ж, отменной изысканности покроя. На голове молодого человека то ли бесшабашно, то ли просто криво сидела серая кубанка, изпод которой выбивались жесткие черные волосы. Будь он рус и сероглаз, этот молодой человек, его можно было бы принять за сына какого-нибудь фабриканта или помещика из Центральной России, пробившегося сквозь красные заслоны сюда, в Крым, к белым. Но глаза его на узком смуглом лице были темны, почти черны, а расплывчатая и нежная печаль взгляда выдавала в нем то ли кавказца, то ли семита.

В обход очереди, под неприязненными взорами ожидающих, адъютант провел Бурцева к генералу Субботину.

Генерал был бодр, радушен и почему-то весел.

— Милости, милости просим! — выйдя из-за стола, сказал Субботин и с осторожностью, как весьма ценный предмет, принял в объятия нескладного и хрупкого Бурцева, которого видел первый раз в жизни. — Сам знаменитый Бурцев! Ха-ха! Ваше „Общее дело“ подымает нас на борьбу! Разоблачи-

тель Азефа, Боже мой! Клемансо вас цитирует! Чаю! Ха! С лимоном!

— Клемансо цитирует и Троцкого, и Ленина, — освободясь и севши в предусмотрительно подвинутое адъютантом кресло, сказал Бурцев.

— Но они к нам сюда не едут, — хохотнул, как удачной шутке, Субботин. — Мы сами к ним нагрянем! „Марш на Москву”, а? Вот вам заголовок для газеты! „Белые рыцари в красном Кремле”!

— Вы считаете, что это реально? — наклонив голову и глядя вверх очков, спросил Бурцев. — Сейчас? С нашими силами?

— Это неизбежно! — как о непреложном, сказал Субботин. — Большевики держались, пока было что грабить. Теперь они переварили награбленное и начинают истекать кровью. И мужичок, заметьте, повсеместно на нашей стороне. Он бежит от красных, как от чумы. Наш родимый российский лапотник!

— Куда бежит? — сердито спросил Бурцев. — К Махно?

— Ну, Махно!.. — отмахнулся Субботин. — Что такое Махно?! Да я раздавлю его одним офицерским полком, просто руки до всего не дотягиваются. Вот двинем на Москву и попутно захватим его левым флангом.

— Сколько у нас штыков и сабель, генерал? — как кошку, поглаживая на коленях портфель, спросил Бурцев. — Пушек? Аэропланов? Или это военная тайна?

— А союзники? — не ответил Субботин. — Греки рвутся в бой! Вот это настоящие орлы. Они, представьте себе, помнят добро — как мы помогли им против турок. А зуавы! Уж они-то церемониться не станут: кто большевик, кто меньшевик... Тут у нас в Севастополе появился недавно один зуав — публика была совершенно очарована: дьявол, а не человек. Ну, просто дьявол! — с удовольствием, словно вспоминая о вкусной еде, повторил Субботин.

— В Париже смотрят на это несколько иначе, — сухо сказал Бурцев. — Французы считают, что воевать должны мы, а не зуавы.

— Ну, разумеется, разумеется! — успокоительно повел рукою Субботин. — Марш на Москву — это, прежде всего, наше внутреннее, русское дело. Но, раньше чем идти на

Север, нам нужно здесь, в Крыму, избавиться от всех этих наших чистоплюев, от этой либеральной заразы! Ну, сами подумайте — Соломон Крым во главе правительства, Макс Винавер ведает внешними сношениями... Не поймите меня превратно, Владимир Львович, я не против евреев — вон, Пасманик наш Данила Самойлович — достойнейший человек, Пуришкевич его публично обнимал, — какое торжество единства истинных патриотов! Но — надо же учитывать настроение публики: слишком много их тут развелось, слишком громко они говорят, слишком размахивают руками перед вашим носом. А фронтовики, знаете ли, просто от этого вне себя: долой, мол, жидов из Крыма, хватит, довольно они в столицах потрудились! И мы не можем оставлять без внимания требования фронтовиков.

— Набоков, сколько известно, не еврей, — покрыв губы, заметил Бурцев, — а русский дворянин и патриот, как и вы. Но с Соломоном Крымом он работал преточнейше, а с вами сработаться так и не сумел. Как и Оболенский.

— Русские дворяне тоже иногда заблуждаются, — развел руками Субботин, — особенно в окружении инородцев. Я бы этого Набокова вздернул по военному времени, да, вздернул! Ну, евреи воздух портят — это понятно, — но чтобы наш, русский человек...

— Я не стану обсуждать с вами эту тему, — насупившись, сказал Бурцев. — Это бесполезно. Но если б союзники, на которых вы так рассчитываете, слышали этот наш разговор — вы не получили бы ни одного зуава.

— Ну, это же между нами! — ладонями вперед вытянул руки Субботин. — Да и что они понимают, союзники, в наших делах?

— Понимают немного, — принял Бурцев.

— Вот, кстати, полезнейшая книжица, — положив руку на брошюру на своем столе, сказал Субботин, — я ее как раз почитывал, когда вы зашли. Идет в войсках нарасхват! Жажигает людей! Я бы вам всячески рекомендовал распропагандировать ее в „Общем деле“. — Не снимая ладони, он придвинул книгу к Бурцеву.

„Протоколы Сионских мудрецов“, — прочитал Бурцев на обложке. — „Таганрог, 1919“.

— Это же фальшивка, — не прикасаясь к книге, сказал Бурцев. — Неужели вы не знаете?

— Слышали, слышали... — генерал согласно наклонил подбородок к орденам. — Но какое это имеет значение для судеб отечества? Солдату нужно дать жесткую простую идею, обязательно соответствующую его настроению, — и тогда он голыми руками Царьград возьмет!

— Бей жидов? — спросил Бурцев.

— Да хотя бы и так! — кивнул Субботин. — Какая, в сущности, разница? „Бей жидов” — это куда понятней, чем „бей большевиков”, и короче. Да и одно и то же, на самом деле, хотя... — он поправился, перехватив недоуменный взгляд Бурцева, — хотя там не одни евреи сидят, русских тоже хватает.

Бурцев молчал, сложив руки крестом на коленях, на портфеле.

— Какая разница, — горячо продолжал Субботин, — если это может нам помочь — сегодня, сейчас, накануне решающей битвы! Мы потом им спасибо скажем, евреям, орден дадим. Да они, откровенно говоря, нам помогают лучше наших — деньгами, хотя бы. Или вон в приемной паренек ихний с утра сидит, просится в армию. Сам ведь пришел, мы его сюда не приглашали! Те из них, кто с нами идет, — те на нас не обижаются.

— Возьмете паренька? — спросил Бурцев, вспоминая молодого человека в нелепой кубанке. — Кашеваром? В обоз?

— Ради его же блага, — пожал плечами Субботин. — На передовой разорвут его в клочья под шумок — обижен солдат на ихнего брата.

— „Протоколы мудрецов” почитают — и разорвут, — сказал Бурцев. — Хотелось бы спросить его кое о чем... Можно?

— Пригласи! — обернулся к адъютанту Субботин.

Молодой человек вошел, остановился у дверей и, не зная, куда девать руки, сложил их за спиной.

— Шапку сними! — вполголоса подсказал адъютант.

— Скажите, — мягко, как в больничной палате, спросил Бурцев, — почему вы решили присоединиться к нам, а не к красным?

— Я русский еврей, — подавшись на шаг к Бурцеву, сказал молодой человек. — Я не хочу быть красным евреем.

— Как ваше имя? — щелкнув портфельным замком, Бурцев достал блокнот. — И можно ли мне опубликовать ваш ответ?

— Веселовский, — сказал молодой человек. — Борис Веселовский.

7. ЧАСОВНЯ, МЕЛЬНИЦА

— Все мы на одном пяточке, Рувим, — ружейным шомполом бередя угли в костерке, сказал Иуда Губельман, — и левые, и правые, и виноватые. Одни уходят, другие приходят. Потом все уйдут, а мы останемся. Надолго...

— Навсегда? — с надеждой спросил Рувим.

— Навсегда ничего в мире не бывает, — обтерев шомпол о конский потник, сказал Иуда. — Придет кто-нибудь и по наши кости.

Они сидели на кавалерийских седлах, посреди дочиста ограбленной древней часовенки. У их ног догорал, вздуваясь и опадая, костерок на каменном брусчатом полу. От черных дыр, оставшихся от разбитого иконостаса, веяло холодом и чингизхановым запустеньем. За стеной, на воле хрупали овес кони конвоя, и бойцы освобожденно храпели, запрокинув площадки лиц вверх, и клубилось вверх Время прихода и ухода.

Сидели под звездами Рувим с Иудой у догорающего костерка, посреди ограбленной часовни. Летел мимо ночной ветер, задевая каменные кости молельни. Приходили куда-то люди, останавливались ненадолго и уходили, и из этих приходов и уходов складывалась жизнь. И гнил в своей яме хромой мальчик... Впервые после ухода из Весело Рувим с недоверием почувствовал, как жалость вдруг сжала его сердце: у ночного кочевого огня он жалел Бога.

— Это махновцы тут поработали, — вглядываясь поверх костра во мрак углов, сказал Иуда. — Им что Христос, что

другой — все едино: жги! Взяли как-то ихнего одного — прямо на шинель ризу поповскую напялил и так разгуливает... Ни Бога, ни черта не признают.

Рувим молчал, ловя лицом уходящее в землю тепло костра. Может, Семен прошел здесь? Трудно было представить себе рассудительного Семена, грабящего часовню, Семена в ризе. А Бориса куда понесло? На Дон? В Крым? Как вдруг все развалилось в один миг, хрустнуло и развалилось!

— Я тебе говорил про нашего младшего, про Борю, — сказал Рувим, подымая лицо от огня. — А если они там — ну, белые — узнают, что я — здесь?

— С нами? — уточнил, покосившись, Иуда.

— С нами, да, — кивнул Рувим.

— Плохо ему будет, — сказал Иуда. — Ты тоже, знаешь, о нем лучше помалкивай. Спросят — скажи: „Не знаю”. В ЧК, Рува, народ страшный, в ЧК каждые полгода людей надо менять: звереют, слепнут. Но кто-то же должен делать и эту работу, иначе мы не выстоим.

— Революция? — спросил Рувим.

— Да, революция, — сказал Иуда. — С немцами, с англичанами можно сторговаться, договориться, да они со своей европейской колокольни и не понимают толком, что здесь происходит, ты сам знаешь. А со своими не сговоришься, нет! Либо мы их, либо они нас. Точка! И мы с тобой идем в ЧК, чтобы эту точку поставили мы, а не они.

— С точки зрения революционной пользы тебе нужно заниматься агитацией, — глядя на облитые пламенной пленкой, разноцветные, как осенний кустарник, угли костра — розовые, вишневые и золотые, — сказал Рувим. — Агитацией ведь тоже кто-то должен заниматься.

— Сначала мы должны победить, — упрямо сказал Иуда. — Агитация — потом... Если сейчас не идти в ЧК, после победы некого уже будет агитировать.

— Ты, действительно, уверен, что мы победим? — спросил Рувим. — Ты ведь только погляди, что кругом делается...

— Побеждают в конечном счете не люди, — сказал Иуда, — побеждают идеи. И мы победим хотя бы потому, что у нас есть идея, а у наших врагов — нет. „Бей жидов и комиссаров” — это все, что они смогли придумать, — брезгливо до-

бавил он. — Скудновато... А им бы надо зубрить историю Французской революции...

В сорванную дверь часовни пахнуло ветром, и снова, уже из последних сил, занялся костерок.

— Скоро рассвет, — сказал Рувим. — Поспим немного.

Игнат спал на полу, время от времени скребя ногтями то грудь, то бока.

Лене Грачевой клопы не давали уснуть, да еще храп Игната.

Хозяева спали степенно, им не мешали ни клопы, ни Игнат.

Дом для ночлега выбрал Игнат — не самый бедный дом села, но и до богатого было ему далеко. С Леной он не советовался, сказал только: „Здесь переночуем. Утром хозяин даст телегу с лошадью”. Игнат держался как владыка, прикинувшийся рабом. Но когда перед тем, как ложиться, он, понизив голос, позвал: „Погреемся?” — и вильнул глазами на дверь, Лена отрезала мстительно: „Нет!”. Игнат не настаивал: успеется, да и девка немного не в себе. На пароходе было проще — Игнат там был Игнатом, а певичка шпионкой. Теперь, по революционной необходимости, шпионка стала Розой Кац, Игнат — кучером с дурацкой дудкой... Стеля тулуп на полу, у двери, Игнат подумал, что, расстреляй он строптивую певичку вовремя — и не пришлось бы ломать всю эту комедию, тащиться в вонючей телеге на поиски батьки Махно. Пересаливает Феликс Эдмундович по оперативной части, ой, пересаливает. Его дело — теория, это да, никто не спорит. А тут, на Украине, он что знает? Поймай ему Махно! А если Левка Задов, черт дурной, налетит?

Лена поднялась ни свет ни заря и, переступая через сторожевого Игната, потревожила его.

— Я сейчас... — извиняющимся тоном человека, спешащего по нужде, сказала Лена.

Игнат молча встал на четвереньки, потом во весь рост и, подойдя к окошку, следил, как девушка вприпрыжку пересекает огород и закрывается в деревянной будке с сердечком на двери, стоящей особняком.

— Ишь, припекло!.. — ухмыльнулся Игнат. — Как бы не сбежала.

Проснулся от движения в комнате и хозяин и, в знак доброжелательного приветствия, выпростал руку из-под одеяла и поскреб плешивую голову.

— Вставай, чего залеживаться-то, — не без строгости указал Игнат. — Барышня, вон, уже до ветру побегла, а ты все валяисси. — Ему отрадно было вот так — твердо, но без смертных угроз — указывать мужику и выговаривать слова, как привык он с детства в своем поселке — не корежа язык, и чтоб слова вылетали изо рта подсолнуховой лузгой.

— Встаю, встаю, чего ругаешься, — миролюбиво сказал мужик. — Хозяйка моя чичас вам яишню сготовит, а я за кобылой к брату сбегаю. Телега-то моя, а кобыла-то братнина.

— Ну, давай, — сурово уступил Игнат. — Валяй.

— Я чичас, — обуваясь, пообещал хозяин.

Игнат спешил, он наметил выехать в Александровск еще сегодня, с одной ночевкой в пути. Любительский план Дзержинского он доработал, доразвил: к Махно предполагалось теперь прибыть небольшим отрядом под его, Игната, началом. В отряд следовало мобилизовать тройку-четверку девушек, без понуканий готовых петь, плясать и веселиться. И тогда это не вызовет в штабе Махно подозрений и ненужной мужской конкуренции. Просто сбил предприимчивый Игнат бардак на колесах и разъезжает с ним по Полю: хочешь — пой, а хочешь — играй... С одной же единственной барышней в телеге, на вещевом сундучке, все предприятие выглядело бы подозрительно: с какой это радости она тут таскается, эта горожанка, под приглядом хмурого кучера с дудкой! Местные же девки создадут за небольшое вознаграждение необходимый защитный фон, и пара бутылей самогонки в телеге будут и к месту, и ко времени: пей-гуляй, революционный народ! Веселых девок Игнат намеревался наберовать по пути, в придорожных деревеньках.

Феликс Эдмундович, снисходительно улыбаясь, доработанный план одобрил.

— Смотри, Игнат, — сказал он в напутствие, — сам не запей с таким коллективом! А то, знаешь ли — либо пан, либо пропал.

„Поляк чертов! — раздраженно думал Игнат, выходя от начальства. — Пан! Сам ты пан!“

А Дзержинский, продолжая улыбаться уже в одиночестве, размышлял над тем, как, волею природы, Игнату неизмеримо далеко до пана, и еще над тем, что революционная буря подымает со дна человеческий хлам, разбойников и убийц — а потом неизбежно возвращает их обратно на дно, в землю, уже навсегда. И нет в революциях нужней и полезней человека, чем убийца.

...Разделив с Леной яичницу с кусочками серого сала, Игнат выпил топленого молока из глечика, утер губы и подбородок ладонью и поднялся из-за стола. Рассвело. Во дворе, негромко понукая, хозяин запрягал.

— Ну, давай, Роза, — сказал Игнат. — Поехали, что ли...

Ранний ветер тянул на юг высокие чистые облака. Жалобно мычала корова в хлеву. Невнимательно осмотрев упряжь, Игнат влез на козлы и разобрал вожжи. Лена, пригорюнившись по-беженски, сидела на сундучке за его спиной.

— Счастливо ехать! — освобожденно закричал хозяин, когда телега выползла за ворота, и сорвал шапку с плешивой головы. Потом он вернулся в дом и выложил на стол пачку денег из кармана. Хозяйка, заложив дверь на щеколду, сосредоточенно наблюдала за действиями мужа.

Распластав пачку на столе, как круг теста, хозяин занялся делом: посапывая и побряхтывая, он споро отделял и складывал по отдельности желтые керенки, и зеленые пятаковки, и сине-золотые гетманские гривны, и лиловые деникинские двухсотрублевки, и красные крымские червонцы. О крупную коричневую сторублевку резвые его руки как бы споткнулись на бегу: он поднял кредитку к лицу, внимательно и недоверчиво поглядел ее на свет и прочитал по складам, зорко щурясь: „Кредитные билеты обеспечены опиум, хранящимся в государственном банке, и всем достоянием области Семиречья”.

— Тьфу! — оборотясь к жене, сплюнул хозяин. — Семиречье — это где такое?

— Да кто ж его знает? — повела хозяйка костлявым плечом. — Чай, не близко.

— Всучил, леший! — опершись руками о столешницу и раскачиваясь над пестрым разноцветьем денежных бумажек, ругался хозяин. — Телегу ему продай! Кровосос! На

хрена мне этот опий! Я кому надо шепну — с него кожу сымут!

— А бырашня ихняя — порченная, — доверительным голосом сообщила хозяйка и поджала вялые губы. — Она вчерась Ваську нашего погладила, а он и помер.

Известие о внезапной гибели кота не произвело на хозяина дополнительного впечатления.

— Москаль! — продолжал бушевать он, бережно размахивая коричневой семиреченской кредиткой. — Тулуп надел! Комиссар!

— Комиссар! — всплеснула руками хозяйка и пытливо поглядела по сторонам, как будто Игнат в своем тулупе укрылся в одном из углов.

— А как жа! — орал хозяин. — Он с парохода слез со своей курвой, мне Колодный Митрий сказывал, он сам видал! Матрос сперва сундук снес! Там у их тюрьма, на пароходе, и главный начальник едет! Они у арестантов деньги отымают и себе берут! — он снова потряс опийной сторублевкой. — Я Кольке Щербатому шепну!

— А как красные придут? — усомнилась хозяйка. — Они с тебя с самого шкуру сдерут. Может, плюнь, а?

— Сама плювай, если слюней не жалко, — разумно заметил на это хозяин. — А мне Колька Щербатый эту семиреченку на пятаковку обменяет и еще четвертной приплатит.

— На кой ему семиреченка эта? — проворчала хозяйка. — Татарин он, что ли?

— Ему не семиреченка, — объяснил хозяин, — ему комиссар нужен. Ясно тебе, старая карга? Кольке — комиссар, а Васька Заглада офицерами интересуется. А мне хочь бы мериканский царь — а плати, как сговорились.

На это старуха не нашла чем возразить.

В Гремучих Ключах в телегу погрузились Катька с Любкой, а в Калиновке подседа и Маруська — поджарая баба лет тридцати, с пронзительным курьим голосом, под хмельком.

— Ты, дядя, кобыленку свою погоняй, а мы — тебя, мери́на, — устроившись на дне телеги, сказала Маруська и ткнула Игната кулаком в бок. Не ожидавший игривого нападения, Игнат подскочил на козлах, обернулся и свирепо

поглядел на новенькую. Но Маруська свела губы в сердечко и, не поежившись, выдержала страшный взгляд.

— Ну, стерва! — удивился Игнат и огрел кобылу вожжами.

Перед вечером, в желтоватых сумерках, въехали в село Андроновка. На околице, из-за первых хат, выметнулась навстречу телеге тройка разномастных всадников и с топотом поскакала по пустой улице.

— Кто такие? — наезжая, закричал с седла красномордый детина с казачьим оселедцем на бритой башке. От такого наезда и крика Игнатовая лошадка попятилась, припадая на круп, назад, в оглобли.

— Артисты, — хмуро представился Игнат. — А вы кто?

— Атамана Григорьева люди, — сказал детина. — Артисты тут у нас уже есть. — И глядел бешено, страшно.

— А кто? — тоненько спросила Лена Грачева, — и разрушила опасную заминку. — Какие артисты?

— Клара какая-то, — сообщил детина, и Балалай, то ли Талалай. Хорошие артисты.

— А мы плохие, что ли? — подала голос Маруська. — Мы и споем, и цирк можем устроить.

— Какой цирк? — вылутился детина.

— А такой, — сказала Маруська. — Очень даже простой... Дядька вон, — она указала на широкую спину Игната, — он борец, а мы и на лопатки ляжем, если попросишь получше.

— А-а-а... — сказал детина. — Это дело другое. Вы езжайте вон до той хаты, во-о-он, за колодцем — там сарай пустой, и мы рядом стоим.

— Я т-те шею сверну! — прошипел Игнат, когда телега тронулась. — Борец! Чего ты лепишь?!

— А ты уж и струсил! — фыркнула Маруська. — Я вместо тебя поборюсь, ты не бойся. Мерин!

Катька с Любкой тоненько заржали, а Лена Грачева глядела в сторону с большим безразличием, как чужой и непричастный человек.

— Тьфу! — Игнат сплюнул на дорогу и шевельнул вожжами: — Н-но, сволочь!

Сарай оказался вместительным, высоким. Оглядевшись, девки стали хлопотливо устраиваться, как будто приехали на загородную дачу, на все лето: мели пыльный пол, обрыз-

гивали его водою, перетаскивали охапки сена и свои узелки с места на место. Игнат, снисходительно надзирая, прохаживался. Ему нравилась Маруся — родной наглостью, которой он, Игнат, уже не перед всяким мог козырнуть, и еще вот этим солоноватым, угарным запашком, — и он неторопливо дожидался ночи.

Недолгое время спустя во дворе затопали, сдержанно загомонили, и в ворота сарая заглянул давешний красномордый детина.

— Эй, где вы тут? — взглядываясь, позвал детина. — Артисты!

— Тут мы, — по-начальственному неторопливо отозвался Игнат, а Маруся зачастила-закудахтала:

— Ослеп, что ли! Вот они мы! Петух! Заходи, что ль — гостем будешь!

— Мирон, посвети! — распорядился детина, и из-за спины его, из-под руки вкатился в сарай вполне пьяный мужичок по имени Мирон, с керосиновой лампой в руке.

— Ставь вот сюда, посередке! — озабоченно указала Маруся. — Тут сено! Черт! Сгорим!

— Сгорим, сгорим, — не стал спорить с женщиной Мирон. — Сюда, что ли? — он брякнул лампу на фанерный ящик, лепесток пламени задрожал, и золотистые клубы света упруго запрыгали по сараю.

— Сенька! — позвал детина.

Тотчас возник в черном проеме ворот и Сенька с гармоникой.

— Мишка!

Мишка волок мешок с припасами и бутыль размером с поросенка. Бутыль была надежно заткнута деревянной пробкой, обмотанной полотняной тряпицей.

— Все, — удовлетворенно сказал красномордый детина.

— А гитары нет? — капризным голосом спросила Лена Грачева.

— Колька! — обернулся через плечо детина. — Слыхал? Слетай! У Клары у этой с Талалаем гитара была.

И какой-то еще Колька, звякнув стремянем, немедля ускакал. А Лена Грачева, наклонив голову к плечу и прислушиваясь к тяжелому копытному стуку, улыбалась удовлетворенно.

— Мишка! Сенька! — позвал детина.

И Сенька расстегнул ремешок гармошки, а Мишка, распустив горло мешка, стал выкладывать оттуда на ящик домашнюю колбасу, сало, хлеб и еврейскую шуку с кружками желтой моркови.

На Игната никто не обращал внимания. Сидя в своем углу, он не принимал никакого участия в подготовке к веселью, но и не мешал покамест никому: его ни о чем не спрашивали. Это устраивало Игната, но подспудно и обижало его: он никак не мог себя проявить и смиренно сидел.

А красномордый детина, отдав распоряжения, повел себя, как примерный ученик на школьном утреннике. Подсев к Маруське, он сложил свои беспокойные лапы на мощных коленях и завел разговор о дальней сельской родне, уехавшей куда-то за реку и вконец там оголодавшей: крупы мало, кабанчика нет. Отсутствие у родни кабанчика огорчало детину: он вздыхал и сморкался. А Маруська, вдруг построжавшая, слушала со снисходительным интересом.

Игнату опротивело глядеть на раскисшую Маруську и как Любка с Катькой деловито помогают Мишке расставлять еду и самогонку на ящике. Он поднялся со своего места и подошел к Лене Грачевой.

— Ты, Розка, вот что, — сказал Игнат тихонько. — Ты около меня держись, а то эти жеребцы тебя враз повалят...

Он не ревновал к Красномордому, ему просто не хотелось в намечавшейся приятной гулянке остаться одному, в дураках. Не Маруська, так Ленка, тем более что она теперь Розка, и в этом что-то такое новое и свежее.

— Застрелю, — шепотом сказала Лена Грачева, и непонятно было, в кого она собирается стрелять — в Игната или в шальных григорьевцев.

Тем временем вернулся Колька и, вбежав, подал Лене Грачевой гитару-семиструнку. На маслянисто-желтой крышке гитары было аккуратно выведено чернильным карандашом: „Клара Юнг“. Уложив гитару на колени, Лена Грачева провела пальцами по струнам, по надписи.

— Талалай этот сначала никак не хотел давать, — отчитался Колька. — „Мы, — орет, — атаману скажем! Мы без гитары, мол, куда?!“ А Клара эта и говорит: „Ну, ладно, говорит, берите, но только потом обратно отдайте“.

— Она что, здесь пела? — спросила Лена, поглаживая гитару.

— Плясала тоже, — сказал Колька. — Она сама из жидов, ее наши хлопцы из третьей сотни уже кончать хотели, а Потапов, начштаба, не дал: очень, говорит, симпатичная жидовка, понравилась она ему.

— И что ж? — как бы подгоняя Кольку, спросила Лена.

— Ну и гуляет Потапов, — подсаживаясь к Лене, вместо Кольки заключил Красномордый. — Пьяный лежит... Спой, а?

— Ах, артисты, — тихонько запела Лена, — прелестна ваша жизнь, она замешана на золотой любви, и ветер шалый каждодневной нови пьяней вина в поющем хрустале...

Игнат слушал озабоченно: то Маруську, а теперь вот и Ленку этот бандит подгребает, и песня какая-то грустная... Он вытащил дудку из-за голенища сапога, нетерпеливо повертел ее в руках, сунул в рот, не решаясь, однако, нарушить Ленкино тоскливое бормотанье и враз настроить компанию на веселый лад. „И за дощатым гробом понесут гитару верную с поникшим красным бантом”, — закончила меж тем Лена Грачева.

Воспользовавшись наступившей тишиной, Игнат дунул в свою дудку, и Семен развалил на колене мехи гармоники. Задремавший было Мирон проснулся и потянулся за стаканом. Тяжелый его взгляд уперся в Игната и остановился на нем.

— Чего дудишь? — угрюмо спросил Мирон. — Ты кто?

— Кто, кто... — буркнул Игнат. — Артист.

— Ар-тист, — удовлетворенно повторил Мирон и потянул саблю из ножен. Девушки завизжали.

— Ты чего это?! — обомлел Игнат.

— А ты не дуди! — на глазах свирепея и наливаясь темной кровью, выкрикнул Мирон. — Иди на двор, там дуди!

Никто не удивился глупому предложению Мирона, только Колька, по-петушьи закинув голову, зашелся латунным хохотком.

Игнат медленно, разлаписто поднялся на ноги и, горбясь, пошел вон.

На дворе было свежо и темно, свет молодого месяца робко пробирался сквозь ветви яблоневого сада. Отойдя подальше от входа, Игнат уселся на землю, прислонившись спиной к стенке сарая. Однообразные переливы гармошки доносились до него и визгливый Маруськин голос, складывавшийся в неразборчивые слова. Обнаружив у себя в руке дудку, Игнат злобно на нее посмотрел и, размахнувшись, зашвырнул ее в черно-серебряную яблоневую чашу.

Говорю я Котофею,
— против воли разобрал Игнат, —
Приходи ко мне — погрею.
У меня в мохнатой миске
Сливки жирные для киски.

Игнат смачно сплюнул, зажмурился и заскреготал зубами.

— Люблю лошадей, Сема, — сказал Лев Задов и одобрительно потрепал своего коня по бугристой холке. — Откуда это берется у еврея, ты не знаешь?

Под Задовым шел крупный вороной иноходец, длинноногий, с мощной квадратной грудью, под Семеном Веселовским — чубарый приземистый меринок. Чуть отступя дремал в седле, свесившись набок, Аба Гордин; селезенка его высокой кобылы приятно чмокала в темной глубокой тишине ночного леса.

— А откуда у еврея берется любовь к овсу? — сказал Семен и покосился на Задова — понял ли.

— К овсу? — не понял Задов.

— Ну, к земле! — объяснил Семен. — К сохе, так сказать. К крестьянскому труду.

— Ах, во-он что! — протянул Задов. — Это ты, значит, опять про коммуны. Уломал-таки тебя Нестор Иванович.

— В этом есть смысл, — сухо сказал Семен. — Мясо жрут в войну, если есть у кого отнять. А после войны опять начинают с хлеба, и надо же кому-то его сеять.

— Ну-ну! — поворачиваясь в седле к Семену, сказал Задов. — Вот это интересно: война кончится, как только

люди сожрут друг у друга всех коров, свиней и кур. Тогда недолго уже осталось.

— А потом люди опять выйдут в поле, — упрямо продолжал Семен. — Русские, евреи — все! Вот ты говоришь — овес...

— Нет, это ты говоришь „овес“, — улыбнулся Задов.

— Ну, хорошо, я говорю! — согласился Семен. — А ты говоришь — „лошадь“. Еврей любит лошадь! Ну и что в этом особенного? Почему бы еврею не любить лошадь? Лошадь, корову? Сад? Почему мы сами уверены, что евреи любят только деньги? А как же тогда эта деревня в Палестине? Дагания? Дегания?

— Ну-ну-ну! — Задов подъехал к Семену вплотную, лошади их пошли бок о бок. — Откуда ты это знаешь? Нестор Иванович рассказывал?

— Ну да! — кивнул Семен. — Он, Дегания, говорит, — это идеал анархо-коммунизма: самоуправляемая сельхозкоммуна.

— Он туда людей хотел послать, — помолчав, сказал Задов. — Поглядеть, что там и как. Только ехать далеко — край света... В чужом сарае собственная жена слаще — знаешь?

— И жара, — сонным голосом вдруг добавил Аба Гордин. — Еврей любит лошадь? Чтоб он был здоров... Но жара!

— Не все на свете родились в Архангельске, Аба, — заметил Задов. — Есть, которые любят жару...

— Мне этот американец рассказывал из отдела пропаганды, — продолжал Гордин, не подъезжая, — и журнал давал. Там жара адская!

— Американец? — быстро спросил Задов. — Финкельштейн? Журнал „Черное знамя“?

— Вот-вот, — сказал Гордин. — Деревня на Генисаретском озере.

— Нестор Иванович приказал листовку про эту деревню напечатать, — сказал Задов. — „Вот, — говорит, — еврей! Пример надо с них брать! Ведь это как наша Покровка, только лучше"... А я ни в Покровку не пойду, ни в эту Деганию. Одно дело на лошади ездить, а другое дело — чтобы она на тебе ездил.

— А я бы пошел, — глядя на уши своего мерина, сказал Семен. — После войны.

— Ну, а что, — примирительно сказал из темноты Гордин. — Если друг друга до костей не сжует — можно. Это как кому нравится.

Лес впереди поредел, открылась степь с огоньками далекого села. Задов рывком натянул поводья, его иноходец, высоко задрал голову, застыл как вкопанный. Подъехал и встал Гордин, за ним цепочкой вытянулась из чащи пятерка конвойцев с винтовками поперек седел.

— Приехали, — сказал Задов. — Значит, так. Аба, Сеня — вы со мной. А вы, ребята, — он поглядел на конвойцев, — идите тихохонько вдоль речки до самого села, до мельницы, там переходите воду и ждите. Всё!

Конвойцы откатились, исчезли, словно ветром их сдуло.

— Лева, — тихонько позвал Семен Веселовский, — я... не умею этой... ну, саблей...

— Мы не мушкетеры Дюма, — пожал плечами Задов. — У нас другая профессия... Я тоже не умею саблей, Сеня.

Сзади гулко, всей широченной грудью вздохнул почему-то Аба Гордин.

К селу подошли без помех. Невдалеке от околицы в орешниковых зарослях завозился кто-то, зашумел куст и бездомный кот противно заорал, чужая ли кошка, то ли опасность смерти. Семен Веселовский вжал голову в плечи и оцепенел в седле, как будто кот этот внятно поведал кому надо, что вот, едет тайный злоумышленник Семен, и пришло время его хватать или стрелять в него из укрытия. А Аба Гордин, неторопливо оборотясь к орешнику, заухал филином.

— Это наш человечек, — наклонившись к Семену, сказал Задов.

И точно — из кустарника вывалился на дорогу мужик в долгополой шинели и, подойдя, доложил:

— Тута они. В сарае стоят, вон, по правую руку. У телеги у их оглобля кривая и спица одна выбита из заднего колеса.

— Ты иди перед нами, — сказал Задов. — За одну хату до этого сарая дашь знак. Ну, иди!

Пропустив мужика шагов на двадцать вперед, Задов тронул своего коня и, не оглядываясь, поехал к селу. Брехали собаки.

Сарай ходил ходуном. Сидевший у стены Игнат удрученно прислушивался к шуму гульбы и, как бы в подтверждение своим невеселым предположениям, качал головой. Было черно и зябко, Игната познабливало.

Вдруг шум умолк, как обрубленный, и хлынувшая отовсюду тишина была мерзей и печальней плясового топота, взвизгов ветреной Маруськи, сдобного хохота толстой Катьки — всей этой будоражащей мешанины звуков чужой гулянки. Игнат живо представил себе, как Красномордый шарит своими вареными лапами под кофтой, под юбкой у теплой и чуть дряблой Маруськи, и ему сделалось непоправимо одиноко, и хотелось кому-нибудь пожаловаться за стаканом вина.

Он услышал, как сухо стукнула дверь сарая, и Лена Грачева независимо к нему подошла — в разорванной кофточке, кутаясь в шаль с бахромою.

— Садись вон, Роза, — разглядывая красивые цветы на черной шали, пригласил Игнат.

— Хамье, — без возмущенья сказала Лена, садясь рядом с Игнатом. Ее юбка тоже была надорвана — сбоку, там, где застежка. — Для них все женщины — бабы, без разбора. Потому что они сами все одинаковые.

— Обидели, что ли? — осторожно разведал Игнат.

— Ну, если это теперь называется „обидели“... — усмехнулась Лена, закуривая папироску. — Впрочем, какая разница! Большое дело! Просто все это скучно, скучно...

В сарае опять заиграли на гармошке, и кто-то заревел песню.

— Вот в Москву приедем, будет весело, — сладким голосом, как ребенку, пообещал Игнат и потянул девушку к себе.

— Кто это? — сбрасывая руку Игната, спросила Лена.

Кто-то коренастый, приземистый обходил их телегу посреди двора.

— Тебе чего? — негромко окликнул Игнат.

— Ну да, ну да, — удовлетворенно осматривая заднее колесо без одной спицы, сказал Аба Гордин. — Это наша телега, ты ее купил.

— Купил, да не у тебя, — настороженно глядя, сказал Игнат.

— У свойственника моего, — объяснил Аба Гордин. — Он меня послал. Ты сотку вот дал, а у нас никто ее не берет. — Аба левой рукой вытащил из кармана семиреченскую кредитку. — Тут про опий про какой-то написано... Твоя, что ли?

— Ну, моя... — неохотно признал Игнат. — Давай сюда — обменяю.

Тогда Аба Гордин невысоко поднял правый кулак с зажатой в нем свинчаткой и опустил его на голову Игната. Игнат, охнув, повалился набок. Лена Грачева набрала воздуха, но крикнуть не успела: левой рукой с семиреченской кредиткой Аба запечатал ей лицо, и она с отвращением почувствовала во рту солоноватый вкус грязной денежной бумаги.

Задов с Семеном Веселовским бежали к ним от яблоневой чащицы.

— Бери его! — приказал Задов, и Аба легко взвалил на плечо обвисшего Игната. А Задов белыми шипцами пальцев схватил онемевшую от страха Лену Грачеву за нос и, когда она судорожно открыла рот, сунул туда свой носовой платок.

Лошади ждали под яблонями. Аба Гордин ловко перевалил Игната с плеча на круп своей кобылы и, налегая коленом, накрепко приторочил его ремешком к задней луке седла. Семен вскинул на мерина ватную Лену Грачеву и сам сел за нею, придерживая ее сзади, чтоб не упала.

— Поехали! — осмотрев работу, сказал Задов и плавным прыжком, не коснувшись стремени, взметнулся в седло своего иноходца.

До мельницы ехали садами, потом полем. У самой запруды разглядели в темноте конвойцев — спешившись, они сидели на земле у ног своих лошадей.

— Аба, ты займись им, — Задов кивнул на помыкивающего Игната, — а мы займемся девушкой.

Вдвоем с Семеном они сволокли Лену Грачеву с лошади и, тихонько понукая, повели к мельнице. Там было темно, пахло пылью и мышами. Неглубоко под полом приятно шелестела бегущая вода. Задов запалил огарок свечи, покапал воском на старый жернов и аккуратно укрепил свечку в восковой лужице.

— Ну вот, — сказал Задов, сев на жернов рядом со свечкой, — приехали... Начнем. Сема, вытащи у нее платок!

Семен протянул руку и выдернул платок изо рта девушки.

— Пить, — попросила Лена.

— Не надо пить, — сказал Задов. — Имя?

— Роза, — хрипло сказала Лена. — Роза Кац. Дайте папироску!

— Не надо курить, — сказал Задов. — Куда вас послал Дзержинский?

— Я артистка, — сказала Лена. — Никуда он меня не посылал.

— Так он вас просто отпустил? — удивился Задов. — „Идите, — говорит, — Роза, куда хотите’’? Тогда зачем он вам дал сопровождающего? Кто он?

— Разбойник, — устало сказала Лена Грачева. — И вы разбойники. Все разбойники.

— Очень хорошо, — терпеливо сказал Задов. — Послушайте, Роза, я вам не скажу, что я все знаю: кто вы, кто этот ваш охранник и куда вас послал Дзержинский. Я не знаю. Я только подозреваю. Но и этого абсолютно достаточно, чтобы вас расстрелять, Роза. Вы можете на меня обижаться, но я не шучу... Куда вас послал Дзержинский?

— Он с Игнатом говорил, — кусая губы, сказала Лена. — Я ничего не знаю. Он меня обещал в Москву взять.

— Кто „он’’? — с интересом переспросил Задов. — Игнат или Дзержинский?

— Конечно, Дзержинский, — сказала Лена Грачева. — Игнат его помощник какой-то, просто пешка. Что он может устроить в Москве?!

— Ну, конечно! — охотно согласился Задов. — Ничего! Но здесь, на Украине, он многое мог устроить... Кто должен был стрелять в Махно — он или вы? Или оба?

— Глупости, глупости, — тихонько покачиваясь на красивых ногах, сказала Лена. — Я — в роли террористки!.. Но кто вы, я хотела бы знать?

— Не надо знать! — сказал Задов. — В этом деле вы не нужны Игнату, Игнат нужен вам: вы без него не справитесь. Это только подозрение, Роза, но к чему нам еще доказательства?

— Дайте папироску! — снова попросила Лена.

— Теперь да, — разрешил Задов и обернулся к Семену Веселовскому: — Сема, отведи ее к конвойцам. И давай сюда этого Игната, быстренько, нам надо уже ехать.

Игнат глядел мутно, связанные его руки мотались за спиной, а на мокрой голове чернела запекшаяся кровь.

— Вот так встреча! — Задов поднялся со своего жернова, а потом снова сел, закинув ногу на ногу. — Товарищ Климов! Да кто ж вас не знает! Да вас даже дети маленькие знают! Сначала Дзержинский, а потом сразу идет Игнат Климов тут у нас на Украине!.. Так что ж вы сидели с девушкой прямо на земле около сарая и не шли в помещение? Ведь ночь!

— Вы махновцы, — моргая и щурясь, сказал Игнат. — Ты Задов, я тебя узнал. У нас с вами сейчас мир, не знаешь, что ли!

— В нашей профессии, Игнат, нет такого слова, — грея узкие белые ладони над пламенем свечи, сказал Задов. — И, потом, если б ты меня поймал — что б ты со мной сделал, а? Облил бы бензином и сжег, как зимой нашего Евсея Кармелюка? Или повесил бы, как Соколенку? И, если мир, зачем ты покупаешь телегу и едешь к Махно с этой соплячкой? Мы же давно не дети, Игнат!

— Ну, ладно, — сказал Игнат. — Чего ты хочешь?

— Ничего не хочу, — не раздумывая, сказал Задов. — Ну, может, немного о девушке.

— А чего о ней говорить! — сказал Игнат и потрянул связанными руками за спиной. — Она взялась батьку вашего замочить, и за это ее в Москву должны были в театр определить.

— А ты? — спросил Задов.

— А я при ней, — сказал Игнат, и надежда вдруг заметалась в его мутных глазах, а потом исчезла.

— Не повезло тебе, Игнат, — подымаясь с жернова, сказал Задов. — Ну, кончать пора... Аба!

Вошел Гордин, встал у двери.

— Вот его и девушку, Аба, — продолжал Задов, — без парада расстрелять где-нибудь тут в кустиках.

Игнат дернулся, словно его ударили кнутом.

— Бандиты! — тряся связанными руками, закричал он. — Да здравствует революция!

Аба Гордин, обхватив его за шею, прижал спиной к себе и громоздкой рукою зажал ему рот.

— Чтоб не орал поганым ртом святые слова, — сведя брови над горбатым носом, сказал Задов, — утопить его! А девушку расстрелять... Это все!

Аба, вывернув Игнату руки, поволок его к двери.

— Вот и все, Сеня, — сказал Задов, легонько ударяя Семена Веселовского по плечу.

— И девушку? — тихонько спросил Семен.

— И девушку, Сеня, — сказал Задов. — Сейчас поедem в твое Веселó.

Где-то вблизи, рядом стукнул приглушенный одиночный выстрел, и почти одновременно с ним послышалась отрывистая ругань за стеной мельницы и тяжелое тело с плеском плюхнулось в воду.

— Черт! — выругался Задов. — Забыл спросить у него, как звали девушку.

— Роза Кац, — сказал Семен.

— Какая там Роза! — махнул рукой Лев Задов. — Это псевдоним. Она такая же Кац, как я — Иванов. ЧК хочет, чтобы в Махно стреляла еврейка.

— Зачем? — спросил Семен. — Какая разница?

— Мол, евреи, — объяснил Задов, — ненавидят Махно так же, как белых или Петлюру, никакой разницы. И вот тебе получается Роза Кац. А мы с тобой, Сеня, напечатаем в газете, что была поймана и уничтожена какая-нибудь Вера или Лена Иванова или, скажем, Петрова. Лена Петрова, а? Как? Неплохо?

— Неплохо, — подумав, сказал Семен Веселовский.

— Ну, вот и хорошо, — подвел итог Задов. — Поехали, поехали!

8. СИНИЙ ДУХАН

Во всем Севастополе да и, пожалуй, во всем Крыму не было никого, кто знал бы достоверно, когда и при каких обстоятельствах татарский Синий духан получил новое название — ресторан „Монте-Карло”. Говорили, правда, что какой-то князь Карло Дундурия, лейб-гусар, облюбовал когда-то этот кабац над морем, сидел там и пил, пока Синий духан не превратился в „Монте-Карло”. Впрочем, говорили и о том, что запьянцовский Дундурия был таким же князем, как и подозрительный духан — рестораном. Лейб-гусарство замечательного грузина также ставилось в этих разговорах под сомнение: с какой стати, действительно, было лейб-гусару переться в эту приморскую дыру и пропадать там дни и ночи? Другого, что ли, кабака не нашел он на побережье — получше?

Так или иначе, но бывший Синий духан отбою не знал от посетителей. Прежде всего, то были офицеры, штабные и полевые; полагалось особым шиком заявиться сюда, на отшиб, на моторе или извозчике и глядеть сквозь ночной бархат на грустно мерцающие огни близкого, но вместе с тем как бы уже и отринутого вчуже Севастополя. В этом меланхолическом наблюдении офицерам служили подпорою дамы, как приезжие столичные, так и кондовые, местные. Вино шибко лилось, соревнуясь с соседним примечательным водопадцем, неиссякаемым во всякое время года. Вкусный шашлычный дым окружал заведение, заползал под низкие

своды кабака и крался к эстраде, никогда не пустовавшей: голубоглазый русский человек в тесном, с чужого плеча, смокинге долбал там, растопырив пальцы, по клавишам пианино, еврей, подложив под подбородок носовой платок и жмурясь, играл на скрипочке, духовика с барабанщиком было почти не видать в притемненной глубине сцены, а красиво перебиравшая голыми ногами певичка, наоборот, была ярко освещена скрытым фонарем с жестяной трубообразной насадкой. Каждые полчаса певичка, неестественно приседая, убегала через зал в хозяйский кабинет немного отдохнуть и выкурить папиросу, а на ее место прибегала долговязая танцовщица в прозрачных шальварах... И, глядя из-за столиков на эстраду и на сева­стопольские огни, тревожно и горько было думать о том, что на севере, почти рядом, шастают по степи драные отряды красnobандитов и разбойник Махно вздымает прах Поля колесами своих тачанок.

Татарский духанщик, некогда потчевавший здесь пыльных путников лепешками и жареным чесноком, тоже давно сменился и пропал из вида. В хозяйском кабинете, куда убегала покурить певичка, сидел теперь армянин с круглыми щеками и бараньими глазами, с крупным рубином и орлиным когтем на мизинце. Говорили, впрочем, что армянин сидит здесь как бы для красоты, а истинные владельцы гнездятся куда выше — в Главном штабе, в отделе снабжения армии... Так или иначе, но интересы нижних чинов не были обойдены в „Монте-Карло” хозяйскою заботою: к каменному телу кабака прилеплена была дощатая пристройка для рядового состава. Штатская сева­стопольская публика, отправляясь в кабак „провести время”, обходила буйную пристройку стороною: там случались драки, иногда и со стрельбой.

— Разочарован, — сказал Залуцкий, невнимательно следя за танцовщицей на эстраде, — разочарован я, господа, в этом Бурцеве: ни два ни полтора.

— Азефа он разоблачил!.. — кривя лоснящиеся от чебуречного сока губы, сказал контрразведчик полковник Чернодворский. — Да он сам из жидов, если хотите знать, господа, только скрывает. Вот из-за таких... — полковник, не договорив, тяжело навис над тарелкой и зажевал, но было всем совершенно ясно, что катастрофические неприятности,

преследующие Россию и, в частности, сидящих за этим столом — Залуцкого, поручика Лупанарова и его самого, полковника Черновдворского — проистекают, прежде всего, по вине таких, как Бурцев.

— Интеллигентишки! — довольно блестя глазами, сказал Лупанаров. — Левачье! Нет, вы обратили внимание: как интеллигент — так левак, будь он неладен, розовый, почти красный... Я, знаете, собачку из Пензы привез, на красных натасканную. Так вот, она здесь, в Крыму, неделю протянула да сдохла: просто нечем дышать.

— Вот именно, — улыбнулся забавной истории Залуцкий. — Как говорится, у попа была собачка...

— У какого попа? — хмуро осведомился Черновдворский и взглянул на Залуцкого отчужденно.

— К слову пришлось, полковник, — охотно объяснил недоразумение Залуцкий. — Шучу, шучу. Песенка такая есть, про попа: па-па-па-па-па!

— И вот такой Бурцев, — продолжал Лупанаров, — чисто-плюй, просто предатель, прости господи, представляет нас в Париже, по нему, можно сказать, судят: вот, дескать, витязь, защищающий Европу от беспородных красных вшиварей. А? И ведь не загрызть...

— Да, — прогудел Залуцкий. — Левоват, левоват... Поручик, передайте-ка уксусу! Благодарю... Мы-то вот тут в „Монте-Карло“ рассиживаемся, а Бурцев Владимир Львович сидит себе в Париже, и это стратегически куда выигрышней, а, полковник? В окошко выглянешь — а там Сена течет.

— В этом есть свои преимущества, — согласился Черновдворский. — Тут мы сидим спиной к воде, нас могут просто спихнуть. Ведь тыла, тыла нет!

Взглянув через плечо на черную воду и пригоршню севастопольских огней, Лупанаров озабоченно покачал головой: отсутствие тыла его не радовало.

— Вот я и говорю, — Залуцкий повел большой пухлой рукой, как бы приказывая танцовщице остановиться, а еврею опустить свой смычок: — Под лежащий камень, господа, хрен не растет!

— Что вы имеете в виду? — собрав лоб в складки, спросил Черновдворский.

— Да это он шутит! — досадливо отмахнулся Лупанаров.
— Пора бы уже и привыкнуть!

— Да, шучу! — добродушно подтвердил Залуцкий. — Пока шучу. Но если мы в самом срочном порядке не разрабатываем, так сказать, планчик, тройственное, можно сказать, соглашение — в скором времени всякие шутки станут неуместны. А, полковник?

— Согласен, — немного помолчав, сказал Чернодворский. — Откровенно говоря, мне и сейчас уже не до шуток: ситуация крайне нестабильна.

— Откровенность контрразведчика! — драматическим шепотом воскликнул Залуцкий. — Бойтесь данайцев, приносящих, как говорится, яйца!

— Нельзя ли потише! — раздраженно выдавил Чернодворский. — Вы уж меня извините, господа...

— Нет, нет, меня извините! — как шмель, загудел Залуцкий. — Я не хотел вас обидеть, полковник, и в мыслях не держал.

— Ну вот и замечательно, — глядя в тарелку, сказал Чернодворский сквозь зубы.

— Это у меня от покойной бабки, — продолжал Залуцкий. — Иной раз я не в ту степь скачу, не в ту. И, главное, никак остановиться не могу, вот ведь что!

— Бог в помощь! — сухо порекомендовал Чернодворский.

— Бог, Бог — да сам лови блох! — откликнулся Залуцкий. — А приятно иногда вот так посидеть, можно сказать, с близким человечком. — Он проводил взглядом пробирающуюся меж тесно стоящими столиками долговязую танцовщицу и вдруг поднялся из-за стола. — Один момент, друзья мои! Как говорится, але-хап!

— Поскакал, что ли, уже? — наклонившись к Лупанарову, спросил Чернодворский. — Не в ту степь?

— Сейчас придет, — легко пожал плечами Лупанаров. — Другой не скачет, зато и в Париж не ездит каждый месяц.

Залуцкий, действительно, коротко переговорив с танцовщицей, вернулся к столу.

— На бабца и зверь бежит! — объявил он удовлетворенно и сел. — Итак, продолжим.

— Когда вы едете? — спросил Чернодворский.

— На той неделе, — откинувшись на спинку стула, беспечным голосом сказал Залуцкий. — На „Стерегущем”.

— Как вам вкратце разъяснил поручик Лупанаров, — голос Чернодворского слегка дребезжал, — наша задача — создать за рубежом подготовленную эмиграционную базу: деньги, связи, влияние.

— Дрищущий да обрящет, — рокотнул Залуцкий и согласно кивнул головой.

— Мы втроем создадим в Париже как бы фонд, — поморщился Чернодворский, — в который каждый из нас сделает свой вклад: поручик, — он кивнул в сторону Лупанарова, — наличные деньги в валюте, золото, драгоценности, ну, может, малогабаритные произведения искусства. Вы — переправку материалов за рубеж и организацию нашего предприятия на месте: дом, устройство денег и ценностей, прочая суета.

— А вы? — кругло глядя голубыми глазами, спросил Залуцкий.

— А я — секретешки, — с готовностью осведомил Чернодворский. — Секретешки места не занимают вовсе, а стоят мно-о-го!

— Да, верно, — согласился Залуцкий.

— Перед штормом следует спускать и крепить паруса, — сказал Лупанаров. — Кто поступает иначе — тот близорукий авантюрист.

— Это море на поручика так действует, — усмехнулся Чернодворский и указал оттопыренным большим пальцем за погон — там масляно плескалось море и трепыхались фонари и звезды в беспокойной воде. — Будь мы где-нибудь в Ростове, он привел бы пример с землетрясением.

— Конечно, — сказал Лупанаров. — Но мы ведь в Крыму... Начнется шторм — а у нас и деньги, и крыша над головой, и французские паспорта...

— Если вы их нам сумеете раздобыть, — добавил Чернодворский. — Подлинные!

— Здравая идея, — немного подумав, сказал Залуцкий. — Эй, шампанского! Сухого!.. За настоящие доллары, — он перегнулся через стол к контрразведчику, — можно и настоящие паспорта раздобыть, я кое-что слышал об этом в

Париже. Но нам, господа, нужен, так сказать, постоянный представитель: наскаками дело не пойдет.

Чернодворский и Лупанаров оцепенели со своими бокалами, как бы по-новому вглядываясь в большое лицо Залуцкого.

— Есть у меня на примете один жидок, — поводя головою от плеча к плечу, сказал Залуцкий, — сообразительный, скажу я вам, господа, малый...

Лупанаров с Чернодворским задвигались, опустили бокалы на стол.

— Чтob еврея — и в такое дело... — сказал Чернодворский с укоризною в голосе.

А изумленный Лупанаров не мог найти слов и катал хлебные шарики.

— Без еврея в таком деле нам просто не обойтись в Париже, — снисходительно приступил к разъяснениям Залуцкий. — „Еврейский беглец от красного террора” — это звучит, это располагает. А нашему, прошу простить, русаку хоть башку отруби — французу на это наплевать.

— Зажрались, — мрачно заметил Лупанаров. — Забыли...

— Пустой народец, — кивнул Залуцкий. — Так вот, еврея там единовeрцы его берут на буксир — и вот уже, так сказать, открываются перед нами новые возможности. Евреи, господа, куда ни глянь — сила: здесь Троцкий, а в Париже другие сидят, потише.

— Так ведь тем более... — Чернодворский сложил губы трубочкой, как будто тянулся к кому-то невидимому с поцелуем, и в сомнении покачал головой.

— Согласен, — замахал руками Залуцкий, — согласен, как говорится, априори! Жида сколько ни корми — он все в лес глядит! Знаю! Но такова, господа, жестокая реальность: без жида нам не обойтись, вы уж мне поверьте.

— Вот, правда, парадокс, — набычившись и глядя исподлобья, сказал Лупанаров. — Это ж надо: русские люди без еврея не могут обойтись. Какой позор!

— Эх, поручик! — Залуцкий беззаботно глядел. — Были когда-то и мы русаками!

— А он не украдет? — спросил Лупанаров. — Не обворует?

— Как его? — Чернодворский вытянул из нагрудного кармана записную книжечку с граненым золотым карандашиком.

— Веселовский, — сказал Залуцкий. — Борис. Из третьего обоза.

— Я за ним присмотрю, — записывая, сказал Чернодворский.

Неожиданное изменение скучной жизни обозника обрадовало, но и насторожило Бориса Веселовского: не перст судьбы угадывался в сшибке событий, а чья-то рука, и Борис не знал — чья.

Чистка кашеварных обозных котлов уже за несколько недель довела Бориса до состояния совершенного душевного разброда, и разговоры о том, что какой-то Кацман служит начальником пулеметной команды, не помогали: Борис готов был бежать из обоза куда глаза глядят, хоть к тому же Махно. Махно, во всяком случае, дает евреям оружие в руки, у него вон сколько евреев и в разведке, и в штабе, и начальник обоза капитан Грибов его иначе, как „жидовский атаман”, и не называет. А что плохо для капитана Грибова, то, выходит дело, хорошо для Бориса Веселовского.

Борис и сбежал бы уже давно от своих котлов, если б не Варенька.

Варенька, зарабатывавшая на хлеб игрою на фортепьяно в синемотографе „Лувр”, появилась в жизни Бориса в первое воскресенье по прибытии его в Севастополь и зачислении в обоз. Она была рослой девушкой с крупным и сильным телом, с тяжелой шаткой грудью, с темно-голубыми, обведенными соломенными ресницами глазами. Когда она, нависая над инструментом, играла по вечерам в своем „Лувре”, плечи ее обретали спокойную добрую округлость, а груди под коричневой шелковой кофточкой медленно ходили, как большие рыбы в темной глубине. Да и по характеру Варенька была существом добрым и милым.

Она родилась в деревеньке близ Рязани, в доме из двенадцати комнат с бревенчатыми крашеными колоннами и высокими окнами, в семье мелкопоместных дворян. Когда-то, еще при жизни деда, и земли у помещиков было больше, и имя их звучало звонче, чем нынче. Но вино было куда

вкусней молока, столичные проспекты приятней еловых просек, а площади — жалких полей, Столыпин со своими затеями никак не исправил положения — и дела дробно, безоглядно и отчасти даже весело катились под гору. Два года назад добрые крестьяне, засучив рукава, разгромили, разграбили и сожгли дом с колоннами, кухонный чад гражданской войны затянул усадьбу, Варенькина мама умерла от тифа среди чужих людей, отец пропал на Дону, брат воевал где-то в Сибири, а сестра с мужем перешла финскую границу и, говорят, спаслась. Реальные родственные связи, таким образом, распались, и Варенька, выплеснутая на крымский берег, существовала как бы в одиночку. И пустое пространство вокруг Вареньки, некогда заполненное близкими людьми, было безобразно.

— Ты напиши домой, Боря, — наставляла и настаивала Варенька. — Ведь у тебя дом есть! И они там даже не знают толком, где ты.

— Они даже не знают толком, с кем я, — легкомысленно усмехался Борис Веселовский.

Варенька вспыхивала, взглядывала сердито — но нет, не сальность Боря брякнул и вовсе не Вареньку он имел в виду, а, скорее, генерала Деникина. И она благодарно прижимала к себе Борину руку, на которую опиралась — хотя как бы ее Боря мог бы оказаться с каким-то Буденным или Троцким — это, все же, не укладывалось в ее гладко причесанной голове. А Боря, гася ухмылку и впитывая рукою легкое и взрывчатое Варенькино тепло, думал о том, что — да, надо написать непременно и дать о себе знать, и что о Рувиме с Семеном родители тоже, наверно, не знают ничего.

— Не дойдет письмо, — сказал Борис. — Какая там нынче почта. — Он ощущал свою руку, прижатую к Варенькиному боку и насыщенную ее душистым теплом, как принадлежащую ему, но отдельную от его тела, совершенно счастливую часть.

— Зато совесть будет спокойна, — сказала Варенька низким голосом, который становился еще ниже, когда она говорила то, в чем не была вполне уверена.

— Да, — тесно шагая рядом с ней, согласился Борис. О совести он сейчас не думал, просто ему было хорошо слушать Варенькин голос и соглашаться с ней. Он бестревожно,

почти как о нереальном, думал о братьях — где они, что с ними? — и о том, что сказали бы папа с мамой, увидь они его у белых, в Крыму, с гойкой. Он, Боря из Весело — с гойкой! И с какой! С самой настоящей, самой лучшей! И она его любит, несмотря на то, что она знаменитая дворянка, можно сказать — княжна, а он — жид из обоза. Да если б ему грозило быть сваренным в котле походной кухни вместо каши или щей — он и тогда бы, пожалуй, не сбежал из обоза, из Севастополя, от Вари. Без боя завоевав и захватив Вареньку, Борис Веселовский с упоением ощутил себя ответственным за всю ее дальнейшую жизнь до самой гробовой доски. Будь на месте Вареньки какая-нибудь Ривка или Двойра из Весело или Утятичей, Боря не стал бы с такой головокружительной безоглядностью подводить плечо под тяжкий груз ответственности. Но гойская Варенька требовала особого подхода — в этом Борис был уверен твердо и не сомневался ничуть. И он был готов воевать за нее с целым светом.

Теплый тихий вечер лежал на белых каменных плитах набережной, на желтых камнях улиц. Цикады, укрывшись в кустах розмарина, строчили длинными очередями, сладкий запах южных цветов исходил из земли, как будто сама земля была белым, с золотистыми прожилками цветком магнолии, покачивающимся на крепкой ветви Млечного пути, а ствол дерева был не виден в фиалковой темноте вечера.

— Человек — плод земли, — тихонько сказала Варенька. — Из земли вышел, в землю сойдет.

Они поравнялись с дощатой чебуречной, одиноко торчавшей на берегу. Сквозь щели в стенах свободно выходил небогатый серебристый свет пополам с пахучим дымом.

— Зайдем, — сказал Борис.

Они сели рядышком на лавку, за грубо оструганный стол, и спросили чебуреков и местного прозрачного вина. Хмурый татарин быстро принес спрошенное и ушел в кухню-временку. Больше в зальце никого не было.

— Меня переводят, — сказал Борис Веселовский и, взглянув на обомлевшую Вареньку, поспешно прибавил: — Нет, нет, не отсюда, только из обоза!

— Куда? — коротко спросила Варенька.

— Здесь же, в Севастополе! — благодарный за Варенькино волнение и растерянность, объяснил Борис. — Я должен

выполнить какое-то задание, мне еще самому не сказали, какое. Но потом меня обещали повесить и перевести в боевые части, представляешь?

— Да зачем же! — с досадою сказала Варенька. — Там ведь тебя могут убить.

— Да, — согласился Борис. — Но ведь и здесь тоже могут, все дело в удаче. И потом, я ведь пошел воевать, а не кашу варить. — Он искоса взглянул на Вареньку — понравилась ли ей такая его решительная позиция.

— Без тебя бы они там управились, — горестно сказала Варенька и, подперев белый подбородок кулачком, глядела в стакан, в вино.

— Как это без меня? — не понял Борис. — Кто?

— Какая разница! — повела плечом Варенька. — Мы, они... Тебе, Боря, все равно никто спасибо не скажет, неужто ты не видишь...

— Но ведь красные это гибель России, гибель всего... — растерянно пробормотал Борис. — Это чернь с цепи сорвалась и кровью умылась, ты ведь сама говорила. Мы тут с силами соберемся, к зиме будем в Москве.

— Я не верю, — сказала Варенька. — Ни в какой мы, Боря, не будем Москве, это все слова пустые. Нам бы с тобой добраться до этого твоего Веселовска и сидеть там тихо, как мышкам.

— Веселó, — машинально поправил Борис. — Но ведь кто-то же должен сражаться!

— Почему ты? — спросила Варенька. — Думаешь, я бы тебя меньше любила, если б ты не сражался?

— Но ведь я иду сражаться за тебя! — опустив голову, сказал Борис.

— Поздно, — сказала Варенька и провела пальцами по жестким Бориным волосам. — Вот-вот начнется новая жизнь, странная — как если б нас взяли и переселили на Луну. Но я хочу жить.

— Думаешь, в Весело будет по-другому? — спросил Борис. Он представил себе, как родители и сестра знакомятся с русской Варенькой, какая мучительная и неловкая повисает над овальным столом тишина, как, сложив руки на животе, нахально ухмыляется Женюра, — и легонько вздохнул.

— Может быть, — сказала Варенька. — Ну, давай есть, а то остынет. И пойдем, до меня целый час добираться.

Этой ночью Борис Веселовский никак не мог уснуть, вздыхал, ворочался с боку на бок, с нежностью и гордостью подолгу глядел на тихо спящую Вареньку — белую, русскую, запретную.

Качало.

Черный берег был вовсе не виден, только сева­сто­поль­ские огни за спиной, когда фелюгу по скрипом взбрасывало на гребне волны, обрисовывали землю. И страшно было смотреть снизу на клотик, прыгающий со звезды на звезду.

Борис Веселовский в новенькой лягушачьего цвета форме, с наганом в кожаной кобуре на боку, сидел на корме фелюги, на широкой банке. На коленях он держал, не спуская с него рук, черный портфель с двумя массивными серебряными пряжками. Кроме Бориса, в лодке помещались еще двое: крепкий разбитной морячок с вполне бандитской рожей управлялся с парусом, а другой, кривой, почти старик, в тельняшке под бурым от долгой носки бушлатом и с тяжелыми руками плотника, курил и кашлял на носу. Днем, когда Борис Веселовский нанимал их и договаривался с ними о ночном рейсе, они выглядели приличней.

Задание, вдруг и довольно таинственно полученное Борисом, твердо пообещавшим молчать при всяких обстоятельствах, сводилось к найму лодки, приему в море, в условленном месте, черного портфеля от мичмана с капитанского катера и немедленной доставке этого портфеля некоему лицу, ожидающему по затверженному Борисом адресу. Задание или, точнее, приказ был отдан немногословным артиллерийским подполковником, вызвавшим Бориса из обоза в комендатуру и говорившим с ним без свидетелей. Борис слушал, не веря своим ушам. И беззвучный вопль „Почему именно я?!“ заглушался в недрах его души другим, торжествующим и бравурным: „Выбрали — именно меня!“ Стоя навтыжку посреди кабинета, он почти не сомневался в том, что подполковник — никакой не артиллерист, а контрразведчик, и что от выполнения им, Борисом Веселовским, этого странного приказа зависит вся его дальнейшая судьба.

И, не веря в смерть применительно к самому себе, он ради успеха был готов легко рискнуть жизнью.

Сидеть в одной лодке, посреди ночи, с бандитским морячком и кривым дедом — это уже само по себе было риском, и немалым. Морячок фальшиво что-то насвистывал сквозь сахарные зубы и дерзко поглядывал на Бориса Веселовского. И Борис, не отводя взгляда, крепче прижимал портфель к коленям.

Первая половина дела прошла гладко: вовремя вышли в море, на траверзе Мансурова камня, справа, увидели огни „Стерегающего”. Водя рукой перед стеклом керосинового фонаря, Борис условно посигналил — и немедленно получил ответный сигнал. Все шло великолепно! Борис испытывал замечательное азартное возбуждение, он улыбался в темноте, вертел головой с молодецки прищуренными глазами, руки его сами собою сжимались в кулаки. Ему хотелось скорей закончить дело, стать офицером, жениться на Вареньке и освободить для нее Москву и всю Россию.

Минут через десять после ответного сигнала из темноты выскользнул капитанский катер со „Стерегающего”. Борис снова помигал фонарем и, набрав побольше воздуха, крикнул изо всех сил, как было велено: „Калуга!”. В ответ на это с нависшего над фелюгой катера мичман ловко швырнул черный портфель. От удара о дно фелюги портфель открылся, из него выпали связки каких-то бумаг и деньги, пачки денег. Борис кинулся подбирать почти что под ногами у разбойного морячка, захихивать обрано в портфель. Проклятый мичман, полено он, что ли, кидал! На ощупь защелкивая серебряные пряжки, Борис вдруг остолбенело подумал, что портфель вообще не был заперт, и злобно взглянул туда, где только что столбом торчал над волной мичман, — но катера уже и след простыл в черной воде.

Пятясь к корме с портфелем в руках, Борис Веселовский услышал удивленный свист зубастого моряка и почувствовал, как будто укол шилом, взгляд его голубых глаз — бесшабашный и угрожающий.

До берега оставалось, по нетерпеливому подсчету Бориса Веселовского, не более получаса, когда морячок, решительно сплюнув за борт, сказал:

— Ты вот что, паренек... Сумку-то эту мичман мог и в море уронить, а? Ведь волна!

— Ну? — усаживаясь плотней, сказал Борис.

— Ну, вот я и говорю, — сказал морячок. — Давай поделим, что ли, деньги — тебе половину и нам половину с дедом. И все дела. А сумку эту выкинем.

Кривой дед курил и кашлял, его почти не видать было на носу, в темноте.

— Ты брось шутить, — Борис еще подался назад, уперся спиной в кормовую поперечину, за которой было море. — Плыви давай!

Бандитский взгляд морячка Борис Веселовский чувствовал грудью, опасное море — спиной. Что-то должно было сейчас произойти, нелепое, жуткое. Вцепившись в портфель, Борис судорожно тасовал свои возможности: прыгнуть в море, кинуться на морячка. Что еще, черт возьми? Швырнуть в морячка керосиновый фонарь. Про наган на боку Борис забыл, как будто его там и не было.

Он высветленно вспомнил о нем, когда освобожденная морячком рея косого паруса, стремительно вычерчивая полукруг, скользнула низко над бортом фелюги. Величиной с оглоблю, рея неслась по дуге на Бориса Веселовского, чтобы скovyрнуть его с мокрой банки, сбросить с суденышка в море навсегда. Весь ветер мира гнал парус с подвешенной к нему тяжелой реей, и, проходя над кормой, она сощелкнула бы Борю, как божью коровку с рукава, — но другая, не меньшая сила бережно толкнула его в спину, и он кувыркнулся под летящую рею, пал на грязное дно лодки и, выдернув наган из кобуры, не целясь и не считая выстрелов, стал нажимать на спусковой крючок. Он хорошо видел, как морячка подкинуло, словно кто-то всесильный двинул его снизу, из моря, и медленно перевалило за борт.

— Оружью-то убери! — услышал Борис Веселовский надсадный голос кривого старика. — Чего машешь!

— Возьми парус, — трудно шевеля деревянными губами, сказал Борис. — Кому говорю! — Наган прыгал в его руке.

Старик проворно поднялся и пересел к парусу.

— Да я чего... — проворчал кривой старик, управляясь с хлюпающим мокрым полотнищем. — Я ничего, ваше благородие... — И вдруг, опустив голову, утерев нос рукавом

бушлата, добавил ломким, высоким детским голосом: — Петьку-то моего смыло!

— Смыло, смыло, — вслед за дедом повторил Борис Веселовский. — Кто он тебе был?

— Сын, — не подымая лица, сказал старик.

Не может быть, дико глядя на закрепляющего парус старика, подумал Борис Веселовский. Не расслышал. Не может быть!.. Но переспрашивать не стал.

Через четверть часа фелюга ткнулась носом в сваи старого рыбного порта. Почувствовав удар, Борис поднялся со своей банки на корме. Стараясь не задеть старика, он молчком прошел мимо него на нос и прыгнул на берег и стал неразличим в синеватой чуткой темени. А старик остался сидеть в лодке.

Чем дальше от берега, от лодки со стариком — тем расстроенней и дичей становилось на душе у Бориса Веселовского. Почему этот хмурый старик не кинулся на него, не вцепился ему в глотку своими корявыми лапами? Почему послушался и взял парус? „Петьку-то моего смыло!“ Так ведь не просто его смыло, убила его не морская волна, а он, Борис, его убил. Почему же не кинулся зверем отец, потерявший сына? Хоть бы и под пули, которых, кстати, ни одной не осталось в барабане — почему не кинулся? От трусости? Вряд ли, дело тут не в том. От тупости? От душевной усталости, от фатального безразличия ко всему, и к самому себе наравне с другим? Как это ни парадоксально, как ни чудовищно — но нечто подобное Борис замечал и у Вареньки: вот эту вяжущую бесповоротную усталость, которую вначале можно принять за мягкость. Может, русские вообще такие? — вдруг пришло в голову Борису, размашисто шагавшему со своим портфелем в гору по горбатому каменному переулку. Или эта красно-белая война без правил их такими сделала?.. Борису Веселовскому трудно было судить о русских людях — лучше всех из них он был знаком, пожалуй, с кухаркой Женюрой, но и к ней никогда не присматривался пристально, не было нужды... Так — почему ж? Будь он, Борис, на месте старика, он бы бросился, в горло вгрызся. А если так: он, Боря, на месте этого Пети, а на носу, вместо старика — папа, Иона Лазаревич. Как тогда? Папа — бросил-

ся бы? Да, несомненно, и умер бы от разрыва сердца. Почему же не бросился старик? Он что — другой, по-другому чувствует? А почему этот его Петька не пошел в армию защищать Россию, а Борис Веселовский пошел? Да и старик в обозе пригодился бы — у него вон лапы какие. Что ж они не пошли? Почему, наконец, Петька этот хотел украсть армейские деньги, а Борис не дал? Ведь Белая армия защищает Россию, значит, Боря более русский, чем Петька?.. Сейчас Борис Веселовский испытывал к застреленному им белозубому морячку значительно большую неприязнь, чем час назад, когда, лежа на дне фелюги, разряжал в него свой наган.

По выученному Борисом адресу поджидал его, на этот раз в собственном, а не в артиллерийском мундире, полковник Черnodворский.

— Ваше задание выполнено, — не зная толком, как надо докладывать полковнику контрразведки и страдая от этого, сказал Борис. — Вот портфель.

— Содержимое? — пристально глядя на портфель, но не открывая его, спросил полковник.

— Все на месте, — сказал Борис. — Лодочник пытался отнять деньги, я его застрелил. — „Застрелил” — это было все же легче сказать, чем „убил”, и более по-военному.

— Убил его? — уточнил полковник.

— Да, — сказал Борис. — Портфель раскрылся, когда упал в лодку, и деньги вывалились. А лодочник увидел.

— Надо знать, что можно видеть, а чего — нельзя, — назидательно сказал полковник Черnodворский и улыбнулся. — Хорошо... Иди, отдыхай. Я вызову.

Залуцкий опоздал. Войдя в битком набитый зал Синего духана, он остановился, прищурился, всем тяжелым корпусом обвел дымное пространство перед собою и, разглядев Черnodворского с Лупанаровым за дальним столиком, приветственно помахал рукой.

— Ну, виноват, виноват! — подойдя к столу и усаживаясь, сказал он. — Точность, как говорится, недостаток королей, а я всего-навсего Залуцкий. Повинную голову и так далее...

— Как добрались? — сухо спросил Чернодворский. — На шестом километре каменный обвал, дорогу завалило.

— Да, я заметил, — сказал Залуцкий. — Разгул стихий?

— Не совсем. — Чернодворский вытянул губы трубочкой и немного помолчал. — Скорее махновцы.

— Наглость какая! — ничуть не озаботился Залуцкий. — Они, знаете ли, тут просто кишат, ну, кишат!.. Вы уже заказали?

— Ждали вас, — сказал Лупанаров. — Что вы пьете?

— Посмотрим, посмотрим... — наклонившись над меню, Залуцкий плотоядно потирал руки. — Спешка, поручик, сами знаете, когда необходима.

— Когда же? — с внезапным интересом спросил Чернодворский.

— При отступлении из чужой спальни, — не отрываясь от меню, разъяснил Залуцкий. — Если явился законный владелец.

— Вот как... — сказал Чернодворский. — Ваш еврей убил лодочника.

— Что вы говорите! — удивился Залуцкий. — Вы ему поручили это сделать?

— Нет, — сказал Чернодворский. — Но это неважно. Он поступил правильно.

— Это полковник придумал, — сказал Лупанаров, — портфель не закрывать, чтобы деньги выпали. И проверить, кто первый украдет: лодочник или еврей.

— Но они ведь, действительно, могли не сдержаться и украсть, — сказал Залуцкий с укором, — дело житейское. Все мы, господа, под Богом ходим, никто, если по чести говорить, не тверд, особенно в сфере финансовой. Бог с ним, с евреем, — но плакали бы наши денежки!

— Деньги были фальшивые, — ровно сказал Чернодворский. — Для проверки. Вашему еврею, пожалуй, можно в определенной степени доверять.

— Ну и прекрасно! — оживился Залуцкий. — Так я и думал! Замечательный малый, хоть, как вы догадываетесь, и еврей.

— Мне необходимо передать кое-какие сведения в Киев, — сказал Лупанаров. — Дискретно.

— Это по поводу ценностей, — внес ясность Чернодворский. — Камни, золотые червонцы. Орден Андрея Первозванного, большая редкость.

— Я думаю, можно послать этого вашего парня, — продолжал Лупанаров. — Дать ему подробные инструкции, и путь едет.

— Как? — удивился Залуцкий. — Чтобы он все это сюда вез? Ну, знаете, это уже слишком!

— Нет-нет, — Чернодворский резко повел ладонью сверху вниз, — вы не поняли: ваш еврей только передаст закодированные сообщения людям поручика, среди них есть, кстати, и его единоверцы. А повезут другие.

— Ну, тогда другой разговор, — успокоился Залуцкий. — А то риск, конечно, дело благородное — но в Париже, знаете ли, без штанов не принято ходить. Во всяком случае, по улицам.

— Ваш протеже, — Чернодворский через стол взглянул на Залуцкого и тонко ухмыльнулся, — тут себе завел подружку, тапершу. Мы им подберем документы почище и отправим: погорельцы, бродяги — неплохое прикрытие. Они поедут через Умань, дотуда я их могу переправить без всяких осложнений и быстро, по своим каналам. А дальше будут добираться сами.

— Хорошая идея, — одобрил Залуцкий. — Побредут себе, можно сказать, как калики перехожие.

— Да какой же из жида калика! — укоризненно, в нос сказал Лупанаров и покачал головой.

— Единственное, что меня здесь смущает, — повернул к делу Чернодворский, — это вот что: парень ценный, он нам весьма пригодится в будущем, и недалеко. Стоит ли им так рисковать?

— Ну, а что ж тут такого! — возмутился Залуцкий и замахал руками над столом. — Волков бояться, как говорится, господа, — в лесу не обниматься. Пусть едет со своей тапершей... Я выбрал: шашлык по-карски и бутылку „Педро”.

— Я — люля-кебаб, — сказал Лупанаров.

— А я — на ребрышках, — сказал Чернодворский. — С жирком.

9. ЕГОРКА

— Отсюда уже недалеко, — сказал Задов. — К обеду будем в Веселó. — И потянул воздух горбатым носом, как будто не головешки от недавнего костра валялись на каменном брусчатом полу, а стол там стоял под белой скатертью и витали над тем столом запахи рыбы и субботней халы.

Светало. Каменный домишко, показавшийся Льву Задову и Семену Веселовскому вчера, в темноте ветреного вечера, самим Богом спущенным с небес, оказался дочиста ограбленной древней часовенкой, торчавшей посреди Поля. Тронутые рассветом, неровные камни строения выглядели понуро, но не вовсе безжизненно. Кони конвойцев сонно переступали стреноженными ногами, а люди, разведя огонь в ямке под стеной, кипятили воду в котелке.

— Аба, завари пожирней, — попросил Задов, высунув голову из каменного проема, в котором висела когда-то дверь. — Главное, побольше заварки — как в том анекдоте, помнишь?

Вернувшись к Семену, он сел на разостланное на полу толстое драповое пальто с мерлушковым воротником, подтянул к подбородку колени и крепко обнял, обхватил их руками, как близкое существо.

— Поработали тут, — обведя исподлобья разруху и коротко вздохнув, сказал Задов. — Может, красные, может, наши. Белые — те нет...

— Ночевать будем в Весело? — спросил Семен. — Или дальше поедем?

— Дальше поедем... — сказал Задов. — Бога тоже каждый в свою сторону тащит, одни в него стреляют, другие его режут ножом. Даже смешно!

Семен Веселовский молчал, глядел вопросительно.

— Ей-Богу, смешно! — с нажимом повторил Задов. — Если одни режут, то другие обязательно стреляют: зеленые или какой-нибудь там Егорка желают действовать обязательно иначе, чем красные или Маруська. Тут ведь фантазию надо иметь! А белые закатывают рукава, берут хоругви и идут в атаку, как маленькие дети. Сумасшедшие!

— И кто-то громит часовню, как будто это Бог, — пожал плечами Семен. — Иконы топором рубят, жгут. А кому мстят?

— Потому что все можно, — насупившись, сказал Лев Задов. — И наши такие же: все можно! А если власти вообще никакой нет, то надо, между прочим, прежде всего выучить, что такое „нельзя”. Без „нельзя” все развалится, как картонная башня! — Он отвернулся от Семена и сердито засопел.

— А Нестор Иванович? — тихонько спросил Семен Веселовский.

— Нестор Иванович это знает лучше всех, — строго, как приговор, вырубил Задов. — А ты вон пойдешь спроси у конвойцев, — он небрежно кивнул через плечо, и кивок его пришелся на дверную дыру, завешенную тяжелым небом с последними блеклыми звездами на нем, — они только посмеются: зачем же тогда революция, если опять нельзя? Раньше нельзя, теперь нельзя. Когда же можно?

Семен вспомнил покровскую старуху в господском кресле, ее шастающие птичьи пальцы, вылавливающие пухлые хлопья хлеба из миски с молоком.

— Сельхозкоммуна! — обрадованно сказал Семен Веселовский. — Там можно! То есть, не все — но там люди живут по-людски, как хотят, там...

— Скучно живут! — вдруг до хруста, как после доброго сна, потянувшись, сказал Задов. — Вон, те же конвойцы туда не пойдут, им другое надо. И почти весь белый свет из таких конвойцев состоит.

— А Нестор Иванович... — вставил Семен.

— Нестор Иванович знает, что эти его коммуны — капля в море, — сказал Лев Задов.

— Сладкая капля в соленом море, — развернул Семен.

— Пусть так! — откликнулся Задов. — На всех не хватит, да и не надо этого.

— Но если кто хочет... — не уступил Семен.

— В Палестине, вон Волин говорит, тоже не все хотят, — сказал Лев Задов, — мало кто хочет. Но если кому нравится, то что ж... — Он повел горбатым носом, поморщился скептически. — Коммуники эти, понимаешь, Семен, как бы сахарный пирог с изюмом, а обыкновенные люди из дерьма состоят пополам с отрубями, вот в чем дело.

— Смотреть завидно? — спросил Семен.

— Ну, положим, не завидно, — еще пуще сморщился Задов, и лицо его стало безобразным, — а так, раздражает: мы — святые, чистенькие, а вы, мол, как хотите... Кто ж тут, все-таки, поработал? — как бы поставив точку на этом разговоре, он невнимательно оглядел искалеченный иконостас и, сидя по-турецки, с головою, вжатой в плечи, застыл. Ответ на вопрос, казалось, не очень его интересовал.

— Может, красные... — неуверенно сказал Семен. Ему представился близорукий Рувим с топором, расшибающий икону в щепы. Видение было нелепым, он, прижав подбородок к плечу, усмехнулся.

— Может, наши с тобой евреи, — не шевелясь, сказал Задов. — Под шумок русскому Богу отомстить — а? За все? Пока пыль не осела. В суматохе — пока война, беспорядок. Да и воюют-то русские с русскими, евреи с евреями тут не воюют.

— А Троцкий? — спросил Семен.

— А что Троцкий? — повернулся, наконец, Задов. — Я еврей, ты еврей, а Троцкий по национальности интернационалист. Если бы я его поймал, я бы его так и расстрелял: как еврей Зеньковский интернационалиста Троцкого. А ты?

— Что я? — отпрянул Семен Веселовский.

— Вот у тебя брат есть. Ты бы брата своего отпустил, если б мы его взяли? — спросил Задов.

— Отпустил бы, — помолчав и не глядя на Задова, сказал Семен.

— Ну, верно, — сказал Задов. — Я же говорю: мы друг с другом, все же, не воюем. А русский человек брата к стенке

ставит, ничего не поделаешь: плачет, а ставит. Потому что для них это война, а для нас — охота.

Он опять скукожился и замолчал, и сидел молча и неподвижно, как идол, властно водворенный в эту степную часовню, в ее запустелый полумрак, — пока не заглянул с воли Аба Гордин с двумя кружками чая.

— Ну, все, — живо подымаясь со своего драпового пальто, сказал Лев Задов. — Попьем чайку — и поехали.

Приехали в Веселó после полудня.

Улицы были пусты, сады — запущенны. Дома выглядели покинутыми и нежилыми, и лишь терпеливо приглядевшись, можно было предположить под крышами затаенное движение людей. Семен и вглядывался с седла в глухие стены, в запечатанные ставнями окна и в робкие живые дымки над трубами — и вдруг с удивлением почувствовал нечто вроде признательности к этому одичавшему родному месту, как будто действительно Весело было изначальным средостением его, Семенова, мира и трепещущие горячие жилки отсюда разбегались по всему свету, цепко оплетали его тяжелое и теплое яблоко.

Они свернули на Главную улицу, подъехали к двухэтажному кирпичному дому.

— Зайдем, — волнуясь, позвал Семен.

— Потом, — отворачивая коня, сказал Лев Задов. — Не сейчас.

А Семен уже стучал в широкую дубовую дверь, нетерпеливо стучал.

— Кто? — услышал он голос Женюры и улыбнулся двери.

— Кто, кто, — ворчливо повторил Семен. — Свои. — Но дверь не открывалась, и он добавил уже громко, радостно: — Семен!

— Сема!.. — откликнулась дверь и распахнулась. Женюра, застыв на пороге, пялила глаза.

— Я, я, — сказал Семен. — Как там наши? — И, отстранив Женюру, через три ступеньки взбежал наверх, в столовую.

За овальным столом, сбоку, сидел аккуратно одетый и причесанный Иона Лазаревич. На чисто выбритом лице с розоватыми старческими щечками, с остывшими незнакомыми глазами голубого стекла безостановочно шевелились

губы, словно бы приводимые в движение каким-то скрытым механизмом, у которого испортился выключатель. Иона Лазаревич с высоким безразличием взглянул на стремительно вошедшего, наклонил голову к плечу и сказал:

— Дождь, грязь, несчастье!

— Что? — Семен шагнул к столу, к отцу. — Папа!

— Дождь, грязь, несчастье! — старательно отделяя слова друг от друга, повторил старик за столом и продолжал шевелить губами, уже беззвучно.

Не сводя глаз со старика, Семен попятился к двери и, обернувшись на торопливое шарканье шагов, увидел мать. Фрума Борисовна шла к нему, плача и расставив руки.

— Мама, — пробормотал Семен, — что с ним?

— Розы больше нет, — сказала Фрума Борисовна. — И вот отец... Пойдем ко мне, Сема!

— Да-да-да-да-да, — услышали они, выходя, голос Ионы Лазаревича.

— Ты мог остаться там, — беззаботно покачиваясь в седле, сказал Лев Задов. — Дома.

— Нет, — сказал Семен. — Ты знал о том, что случилось?

— Да, знал, — Задов пожал плечами. — Иначе зачем, Сема, я бы повез тебя в Весело?

— И Боря, Боря не вернулся, — сказал Семен. — Кто знает, где он?

Задов снова пожал плечами и нахохлился.

Они ехали опушкой молодого леса, впереди Задов с Семеном, за ними, немного отстав, Аба Гордин на своей квадратной коротконогой лошадке, а конвойцы держались метрах в тридцати позади, кучкой. Вечерело, солнечный свет не резал глаза и приятно пели шмели. Малиновый мир выглядел тихим и чистым, вполне готовым к новым замечательным делам, как будто только что вышел из храма, после молитвы.

— Грязь, дождь, несчастье — это все, что он говорит, — сказал Семен. — И не узнает никого, даже мать... Но я не должен был остаться!

— Под каждой крышей свои мыши, — покачал головой Задов. — Я уже не говорю о пользе, Сема — какая там от людей может быть польза на войне, одни неприятности! — но

чего тебе там сидеть, в Весело? А так мы едем по степи, и это приятно душе. А?

— А Рувим! — сказал Семен Веселовский. — Где он?

— Ну, у красных, — сказал Задов. — Какая разница? Он что — один там?.. Нестор Иванович едет в одно интересное путешествие, и я понемножку ищу ему попутчика. Может, это будешь ты, Сема.

— Я? — расслышал Семен Веселовский. — Почему я?

— Потому что я ищу ему *верного* попутчика, — сказал Задов. — У Нестора Ивановича, слава Богу, много верных людей, так сказать, проверенных. Но старая верность — это, поверь моему опыту, уже зоркая верность, она не годится для такого путешествия. Верность должна быть — слепая, вот как у тебя. И это важно!

— Но я еще плохо стреляю... — потрясенно пробормотал Семен.

— Верность — как любовь, — неторопливо продолжал Задов. — Сначала она приходит, а потом она уходит. Не всегда, но — часто, слишком часто уходит!.. А стрелять Нестор Иванович сам умеет. И, кроме того, жизнь — не тир, Сеня. Ярмарка — да, но не тир на ярмарке.

Они ехали не спеша, не погоняя, и руки их, отягченные нагайками, свисали лениво. Было бы странно видеть в Поле в этот тишайший предвечерний час скачущего верхом на коне человека, коротко дышащего, размахивающего ружьем или саблей. Поле, как море, еле двигалось, и еле двигались люди, и деревья леса, и стебли жита. И, расслабленно свешиваясь с седла, Семен Веселовский думал о Махно и о путешествии, которое он собирается предпринять, а не об отце и не о сестре, и не о хромом мальчишке, гниющем в яме... Он ехал как бы с похорон, возвращался Полям к обязательным хлопотам жизни, оставив за кладбищенским забором свою живую скорбь. Он уходил, может быть, навсегда от помешавшегося отца и разбитой горем матери, и чем дальше отъезжал он от Весело, тем полней наливалась покойной, прозрачной печалью его душа — печалью, сквозь которую угрюмая жизнь кажется доброй, золотой и серебряной.

— Жизнь — ярмарка, — ни с того, ни с сего повторил Задов и вздохнул и, отпустив немного повод, перевел лошадь с шага на рысь. Они ехали в приречное сельцо Белый Плес —

там, посреди сада, в крепком доме священника, стоял Махно со своим штабом.

Позади дома и сада, в поле, уходившем одним своим крылом к реке, богатой окунями и раками, а другим — к тихому лесу, в этом поле белел сбитый из свежих досок помост, похожий на эшафот для казни, но и на сцену для игры. Плотники еще придиричиво тюкали своими молотками, а молчаливые деловитые люди уже тащили на помост длинный стол, накрывали его зеленой скатертью и ставили графин желтоватого нечистого стекла, на две трети налитый водою. И устойчивые и широкие, в две доски, лавки ждали сидельцев.

Невдалеке от попава подворья, на рыночной площади, в каменном доме квартировал атаман Егорка с подручными. Ради праздничной церемонии подручные Егорки вытащили из обозных сундуков и мешков лучшую свою одежду — бархатную, парчевую. Сам Егорка щеголял в алых портках с огненным отливом, шелковых. Выпив спозаранку водки, Егорка чувствовал себя в Белом Плесе вполне уверенно: за ним стояли семьсот разбойников, пеших и конных, и отбитый у красных бронепоезд „Гремящий”, бывший „Архангел Гавриил”. Вся эта буйная сила должна была сегодня перейти с песнями к батьке Махно, под его руку.

Переговоры, собственно, были закончены на прошлой неделе: батько согласился принять в свою армию разросшийся Егоркин отряд, с которым атаману уже трудно стало управляться в одиночку: не хватало стратегической смекалки. Самые замечательные подвиги Егорки остались в прошлом, когда он верховодил сотней головорезов. К семистам революционным бойцам требовался другой подход, Егорке неведомый. „Пускай у батьки голова болит за моих людей, — решил Егорка, посылая гонцов к Махно. — А я, на худой конец, всегда сотню свою заберу и уйду, куда мне надо”. Все, таким образом, было улажено быстро и практично. Единственное, что Егорка собирался потребовать у Махно — это присвоения ему, Егорке, звания генерала. И гулянка, которая должна была увенчать торжественную церемонию слияния двух войск — махновского и егоркина — в рысых глазах Егорки была лишь праздником по поводу законного получения им генеральства.

Задов со своей группой подоспел к началу церемонии, назначенной на десять утра. Народ, до трех тысяч душ, толпился уже в поле, лениво переговариваясь и глаза на пустой покамест белоощатый помост. Среди народа хорошо видны были Егоркины бойцы, одетые пестро, празднично. Веселые с утра, они держались плотной разноцветной стаей, немного размытой по краям. Против егоровцев стояло тут, в поле, с тысячу махновцев и столько же сельчан. В ожидании исторического события егоровцы хорохорились, их настораживала естественная многочисленность махновцев, и выжидательная замкнутость сельчан была досадна. Как будто не гулянка предвиделась вскоре, не всеобщее задушевное пьянство и обжорство — а хмурая гроза в чистом поле, морока и колотун.

Из толпы, из самых задов, Семен Веселовский видел, как Махно, шагая широко и торопливо, подошел к помосту и взбежал по нехоженным ступеням. Зеленый френч Махно от плеча к поясу перечеркивал узкий кожаный ремешок, к ремешку пристегнута была казацкая шашка-гурда в черных ножнах. Пройдя к столу, он сел сбоку и мельком оглядел собрание внизу, под помостом. И Семен Веселовский с великим облегчением почувствовал, что нет ничего общего между этим вооруженным, стремительным, как летящий камень, человеком — и тем сапожником из фанерной тесной будки. Тот, в будке, с хлюпающей под ребрами туберкулезной жижей, был сомневающийся усталый человек, этот — опасный камень, не знающий излета. И этот, этот был Махно, герой и вождь, воюющий со всем светом за справедливый мир без захребетной власти! Этот — победит, не тот... Семен обернулся поделить скорей радостью своего открытия и своей уверенности с Задовым, но того уже не было рядом, он, как нож масло, резал толпу около самого помоста.

Появление на сцене быка-Егорки в красных портках озадачило Семена Веселовского. Следом за Егоркою по лесенке полезло пятеро разбойников, густо увешанных оружием: отделанными серебром и перламутром револьверами, празднично сверкающими саблями с мишурными темляками, кедровыми шишками гранат. Махно, с каменным лицом, глядел на живописную группу. Большерукий Семен Каретник, наклонившись, зашептал ему что-то на

ухо, и Махно, коротко улыбнувшись, шлепнул по столу маленькими крепкими ладонями и принялся невнимательно рассматривать тяжелого Егорку. По знаку Каретника на сцену поднялись и сели за стол махновцы — Тимофей Макеев, Иосиф Готман из „Набата” и не оправившийся еще после ранения, с забинтованным лбом Андрей Кашевар. Семен Каретник остался стоять сбоку, за спиной Махно.

Вглядываясь в Егорку, в его обложенную буйным коричневым волосом башку, в его шелковые штаны и болтающийся на золотой церковной цепи наган, Семен Веселовский мысленно протирает глаза: подносил кулаки к лицу, вжимал их в глазные впадины и протирает. Это был тот самый оставивший среди поля и ограбивший поезд Егорка, тот самый, что ловил и вытаскивал из вагонов евреев для расправы. Что он делает среди поля — здесь, на сцене, рядом с Махно? Задов наверняка знал — но Задова и след простыл в толпе и, глядя на ухмыляющегося Егорку, Семен Веселовский вдруг усомнился на миг: а был ли Задов? Кто распоряжался на мельнице, кто толковал, нахохлившись, у костра в часовне? Вместо Задова Семен вполне явственно ощущал перед собою аккуратный провал в пространстве, прорез, в точности соответствующий очертаниям человеческой фигуры, и даже высокая шапка волос была на месте...

— Вот, значит, батько, — услышал Семен сочный голос Егорки, — пришли до тебя брататься, под твою руку. — Он помолчал немного, а потом вдруг задышливо всхлипнул и утер нос широким синим рукавом. — Будем, значит, уместе биться с жидами та с комиссарами до последней капли крови. Я, енерал, та мои хлопцы, семьсот с припекой... — Он снова замолчал и метнул ясный, яростный взгляд в сторону своих людей. Хлопцы разных возрастов, встрепенувшись, восторженно загудели: им надоело топтаться среди поля, в окружении неразговорчивых махновцев и пугливых сельчан, им хотелось в этот праздничный день пить вино, петь и слушать песни и тащить на сеновалы подвыпивших, одуревших девок.

— За что ж мы будем драться? — громко, на всю толпу спросил Махно. — Скажи, генерал!

— За православный народ! — твердо сказал Егорка.

— Религиозная война, выходит дело... — удовлетворенно кивнул головой Иосиф Готман, а потом снял очки, протер стекла краешком скатерти и уложил в карман гимнастерки.

— Так, так, ладно... — выходя из-за стола, сказал Махно. Теперь он стоял против Егорки, близко, неторопливо и критически разглядывая его, как дошлый мужичок на ярмарке, заплатив за вход в балаган, разглядывает усатую женщину: а не приклеены ли усы, не отлипают ли где с краю. — Вон товарищ Иосиф Эмигрант спрашивает про религиозную войну. А?

— А? — спросил и Егорка. Он чуял подвох в вопросе, чуял и насмешку, и отвечать не спешил.

— Ну, ладно... — Махно нешироко расставил ноги в аккуратно начищенных сапогах и тихонько покачивался взад-вперед, как заведенный. — А я думал, генерал, мы будем с тобой воевать за бедный народ против буржуев и властников.

— Можно! — как бы замороженный этим равномерным усыпляющим покачиванием, поспешно согласился Егорка. — Куды иголка, туды и нитка!

— А правда ли, — Махно вдруг перестал покачиваться и застыл, и Семен Веселовский почувствовал, что и Егорка застыл и оцепенел, и вся толпа, и весь мир до горизонта и дальше, до моря, да и море с его рыбами и гадами до самых глубоких глубин, до темного дна замерло, и только голос Махно мерцал над оцепеневшими волнами, — а правда ли, что ты прошлого месяца восемнадцатого числа еврея керосином облил и сжег под Екатеринославом?

— Правда, батько, — посветлел Егорка и освобожденно переступил с ноги на ногу. — Спалил я в печке того жида.

— Ты не можешь называться революционным бойцом! — страшно закричал Махно, и шашка его, словно выброшенная пружиной из ножен, неуловимо сверкнула над головой толпы и легко, вкось опустилась на Егорову шею. Обезглавленный медленно, как бы в раздумье, повалился грудью на стол, а голова его послушно скатилась с эшафота под ноги толпе, и ее не стало видно.

Открыв рот, Семен Веселовский с недоверием следил за тем, как на сцене один из сподвижников покойного Егорки выхватил револьвер, но выстрелить как будто не успел —

упал, сбитый выстрелом Семена Каретника, и Иосиф Эмигрант-Готман, не выходя из-за стола, стрелял, держа оружие обеими руками, и Андрей Кашевар стрелял. А Махно, обойдя труп Егорки, краем зеленой скатерти аккуратно обтер свою гурду и вбросил ее в ножны. Когда он это сделал и, опершись о столешницу ладонью, обернулся не спеша — стрельба кончилась, все пятеро Егоркиных людей валялись, нелепо раскинувшись, на белых досках помоста, как будто хмель их свалил раньше времени и праздничная сегодняшняя гулянка для них уже кончилась. Подойдя к самому краю площадки, Махно поднял руку.

— Кто из его людей, — сказал Махно и через плечо повел головой в сторону обезглавленного, — хочет остаться у меня — беру. Кто не хочет — уходите сейчас. — И, придерживая шашку, быстро спустился с помоста. Семен Каретник шел за ним, словно прирос грудью к его спине.

Толпа медленно и молча растекалась, Егоркины люди тянулись за махновцами, понемногу смешиваясь с ними. Семен Веселовский стоял, не зная, куда ему податься в этом чужом Белом Плесе, — пока не услышал неизвестно откуда взявшегося Задова:

— Задерживаемся, Сема! Задерживаемся мы на этом свете... Что?

— Зачем? — тяжело, как от жажды, шевеля языком, спросил Семен. — Это все — зачем? Зачем — так?

— А для примера, Сема! — блестя глубокими черными глазами, беспечально сказал Лев Задов. — Это — высший класс! А что, ты хотел бы, чтобы эту шваль кончали где-нибудь в подвале, ночью? Так ведь жалко!

— Кого жалко? — не понял Семен Веселовский.

— Жалко упускать пропагандистский момент, как говорит Эмигрант, — сказал Задов и улыбнулся. — Ну, понял? А так — сам батько Махно решает и сам, собственной рукой, наводит справедливость. Это не королевский парад, Сема, это гражданская война!

— А если бы его... — сказал Семен. — Нестора Ивановича... эти разбойники...

— Я же говорю — война! — уже нетерпеливо сказал Задов. — Но мы, ты же понимаешь, немного подготовились. Мы были бы круглые дураки, если бы не подготовились.

— Значит, подготовились, — тупо глядя, повторил Семен.
— Ну, конечно. Я понимаю, иначе нельзя...

— Ну, пошли, пошли, раз понимаешь, — жестко сказал Задов. — Нестор Иванович спрашивал: ботинки у тебя держатся, не развалились?

— Когда спрашивал? — с вымученной улыбкой, ошалело спросил Семен Веселовский.

— Да сейчас, — сказал Задов. — Как там, спрашивает, этот парень, которому я подметку подбивал?

— Хорошо, — сказал Семен и, пропустив Задова вперед, высоко — выше некуда — и резко пожал плечами.

Поле пустело, последние группки бойцов и местных, переговариваясь все громче, шли к селу. Некоторые оглядывались на помост.

Оглянувшись, проходя мимо, и Семен Веселовский, но не углядел в вытоптанной траве человеческой головы и прибавил шагу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

10. ЛБЫ В НЕБЕСАХ (1)

— Вот что, Семен, — строго глядя, сказал Махно, и нельзя было, как всегда, понять, говорит он всерьез или шутит, — я все думаю: сколько же в Москве керосину, Боже ты мой! Если весь этот керосин экспроприировать, да все их конторы да архивы облить, да поджечь — так с бумажной революцией покончим и к практической, наконец, перейдем.

Они сидели друг против друга, меж ними, на поставленном на попа чемодане, на промаслившейся газетке, лежала обернутая в желтую пупырчатую кожу вареная курица. Колеса вагона приятно стучали. За окном ехал уставленный серыми домками, скучный, сбрызнутый недавним дождиком подмосковный лесистый пейзаж.

— Белое мясо вот бери! — отворачиваясь от немытого окна, сказал Махно и ткнул пальцем в большую куриную грудь.

— А вы не любите, Нестор Иванович? — спросил Семен Веселовский и спохватился бестактности вопроса, когда Махно недоуменно поднял брови и взглянул как бы с сочувствием:

— Наоборот, люблю, Семен, потому и предлагаю. Бери вот лук, соль. Ешь!

В вагонной клетушке, кроме них, не было никого: четверо шустрых мешочниц и мужик с крепким деревянным чемоданом, запертым на висячий замок, сошли на последней

остановке не доезжая Москвы — в столице, по слухам, чекисты трясли приезжих и их барахлишко прямо на вокзале, отбирали муку, соль, а людей волокли в кутузку. Под тяжелым взглядом Махно торговцы деревенели и испытывали прилив смутной тревоги и, вываливаясь из вагона на заляпанную прокопченной грязью платформу, гомонили освобожденно и отчасти даже дерзко. Под открытым небом, под морозящим дождем они быстро набирались бодрости и ничем не обоснованной уверенности в том, что нежелательной встречи с чекистами удастся теперь миновать, мука и соль будут проданы или обменены на выгодных условиях и все торговое предприятие завершится вполне благополучно. В обществе сердитого коротышки их, напротив, обуревали сомнения.

— Огурцы остались еще? — спросил Махно. — Глянь, будь ласков!

— Вот! — сказал Семен, выуживая мятый соленый огурец из жестяного бидона, из рассола. Махно складным ножичком разрезал огурец надвое и половинку, не спрашивая, протянул Семену. Вагон чуть покачивало, пыльные оконные занавески относило на поворотах в сторону.

— Ты вот хочешь спросить, — сказал Махно, — верно ведь? А не спрашиваешь. Почему? Если я чего не знаю и хочу знать, я спрашиваю. А вы, интеллигенты, ученые люди, свои вопросы носите в кармане или там в портмоне, не знаю где, а ответы у вас всегда во рту, уже готовые. Спрашивай!

— Ну, во-первых, вы меня взяли с собой, — помедлил Семен, — и это уже вопрос: сам Нестор Махно...

— Сам Махно! Что ж, детей я, что ли, живых ем в обед? — перебивая, пошутил Махно и улыбнулся, и улыбка вышла горькой.

— И я никак не пойму, — уже свободней, смелей продолжал Семен Веселовский, — зачем я вам и что мы будем делать в Москве.

— Ну и спросил бы давно! — без досады сказал Махно. — Первое: Задов тебя рекомендовал. Второе: в Москве попробуем наладить связи кое с кем из товарищей, их немного уже осталось: кто в земле, кто в тюрьме. Может, попадем к самому Старику.

— К Ленину? — неуверенно спросил Семен, и брови его поползли вверх над круглыми стеклышками чиненых-перечиненных очков.

— Почему к Ленину! — рассудительно пожал плечами Махно. — У каждого революционера свой Старик: у большевиков — Ленин, у нас — Кропоткин. А к Ленину и не пробиться: царь!

— Да, я тоже слышал, — сказал Семен, — к Ленину теперь не пускают. А раньше, говорят, можно было.

— Вот-вот! — Махно живо наклонился над чемоданом вперед. — Даже если „пускают” — это тоже никуда не годится. Он что — чиновник царский, чтоб к нему человека пускали или не пускали? Сегодня не пускают, а завтра не подпускают. — Махно замолчал, насупился, глядя в окно.

— Там полк, говорят, целый, — сказал Семен, — вместо того, чтоб воевать идти, его охраняет.

Махно не слышал. Глаза его округлились и помягчели, круглое лицо сделалось удивленным, почти детским. Дождик редко падал на стекло, капли, разматываясь, не добежали до нижнего угла оконной рамы.

— Этот век помянут тем ли? — с трудом и великим удивлением разобрал Семен Веселовский вдруг изменившийся, потончавший до бабьего голоса Махно,

Дождь кровавый пал на землю.
Сын — в плену, в могиле брат.
Насмерть рубится отряд,
Бой четвертый год подряд.
Сверху Бог далекий внемлет.
Бог-полковник на коне,
Шашка-дружка на ремне.

Махно пел.

Брат в земле, жена в неволе,
Дочь пропала, сын в плену.
На гражданскую войну
Мы уходим в чисто поле.

Время это прокляну,
— не верил своим ушам Семен,
Брат в могиле, сын — в плену.
И одна на всех забота:
Выходите, взводы, роты,
На кровавую работу,
На гражданскую войну.

— Вы... — помолчав, с глупой и жалкой улыбкой спросил Семен, — пели, Нестор Иванович?

— Пел, — сухо сказал Махно. — А что? Можно и спеть, когда время есть.

— Просто я не думал, — пробормотал Семен Веселовский, — что вы... то есть... Это ваша песня?

— Собственных песен не бывает, — уже мягче, разъяснительней сказал Махно. — Жизнь бывает собственная, это — да, пока человека не поймали и руки ему не связали.

— Нет, я просто спросил не так! — заспешил Семен, как будто боялся потерять из вида что-то важное, ускользящее. — Это вы эту песню написали?

— Нет, Семен, — глаза Махно, остановившись на Семене, смеялись, а голос был серьезен, — я песен не пишу, не умею — ты что, не знаешь? Санитарка пела, когда я в тифу лежал — я и запомнил с грехом пополам... Нравится, что ли?

— Нравится, — сказал Семен Веселовский и, вспоминая Задова, разговор с ним в часовне, повторил тихонько: — На гигантскую охоту, на гражданскую войну...

— Для кого охота, для кого работа, — рассудительно возразил Махно. — Да это, впрочем, все равно: лишь бы дело делали правильно.

— Правильно — это как? — спросил Семен.

— Ну, как... — недоуменно морща лоб, сказал Махно. — Чтоб думали люди, а не только шашками махали. Да в приказах по армии все записано — возьми да почитай! — Он, всем корпусом повернувшись к окну, махнул рукой с маленькой жесткой ладонью.

— А песню можно записать? — спросил Семен.

— Пиши, — разрешил Махно. — Я скажу.

В Кремль не впускали.

Пришлось идти в Моссовет, раскладывать на столе перед чиновником с вялыми глазами справки и мандаты и втолковывать, что комендант от Крестьянской секции ВЦИКа Советов не держит людей в гостинице более недели ни одного дня, что Председатель секции Мария Спиридонова ничего не может сделать, что им негде ночевать, но, как следует из мандатов, бесплатная комната от Московского Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов им полагается. Чиновник молча слушал, шевеля нижней челюстью, как будто катал во рту лесной орех, пробовал его то на один шаткий зуб, то на другой и никак не решался разгрызть. Наконец, отодвинув документы, он сказал:

— Мы насчет комнаты не решаем.

— А кто решает? — быстро спросил Семен Веселовский, видя, как желваки Махно опасно забегали, а взгляд, который, казалось, мог прошибить дубовую доску, уперся в безмятежный бараний лоб чиновника.

— ВЦИК насчет бесплатной комнаты решает, — сказал чиновник. — Я вам пропуск дам, вы идите.

С пропуском вернулись во ВЦИК, в Кремль.

Часовой в воротах, с ружьем, с примкнутым штыком, так и этак осмотрев пропуск, приложил к нему еще один, размером поменьше, и указал: проходите. Сразу за воротами прохаживался туда-сюда другой часовой — красноармеец из латышского стрелкового полка.

— ВЦИК где тут? — спросил Махно, и латышский стрелок молча указал кивком головы на третьего уже часового, в бескозырке и выглядывающей из-под флотской форменки тельняшке, сидевшего на лавке. Не подымаясь, флотский напряженно изучил пропуска, один, побольше, наколол на штык и сказал:

— Идите вон через двор к тому дому, вам туда.

Они зашагали по пустынному двору.

— Погоди! — удержал Махно шибко шагнувшего Семена. — Царь-пушка это. Пойдем, поглядим. Я про нее читал, когда в тюрьме сидел, в Бутырках.

Обходя чудовищное орудие, Махно разглядывал его с критическим любопытством.

— Красивая вещь, — сказал Махно, трогая фигурный лафет носком сапога, — по воробьям из нее стрелять. Какой царь, такая у него и пушка: большая, а дурная. Удобней тачанки ничего еще не придумали, а царь к ней близко не подойдет: ему хоть биндюг подавай, но обязательно с золотыми оглоблями, чтоб блестело. Дурак, близорукий человек!

Царь-колокол сразу понравился Махно, он с приязнью, по-товарищески глядел на него.

— Хорошо бы его починить, — сказал Махно, — ведь можно. А, Семен? Даже если вполсилы вдарить, далеко слышать. Товарищи слышат и на собрание идут, а несознательные — в церковь молиться. В церковь, в синагогу, — тактично добавил Махно, украдкой взглянув на Семена Веселовского. — Хороший колокол.

— Я где-то читал, — показал свое знание Семен, — что после ремонта звук у него уже будет не тот.

— Не звук, а голос, — поправил Махно. — Зато польза. А так — стоит без дела, стрелок к нему без бумажки не пускает. Мастерá не для этого стрелка его лили, — добавил он уже назидательно.

При дверях приземистого трехэтажного дворца часовых не было, и Махно решительно шагнул через порожек в нежилой полумрак присутствия. Каменная старинная лестница вела во второй этаж, и Махно не раздумывая взбежал по ней.

Длинный коридор, глухой и пустынный, открылся перед ними. Две-три лампочки вполнакала освещали коридор, их жидкого света едва хватало, чтобы разобрать надписи на мощных дубовых дверях по правую и левую руку: „Хоз. упр.“, „Библиотека“, „Секр. отдел“, „ЦК“, „Общий отдел“. С брезгливостью поглядывая на надписи, Махно размашисто шагал по коридору. Дойдя до его конца, до лестницы, совсем уже темной, он круто развернулся и пошел назад. У двери „ЦК“ он остановился и, вытянув руку, побарабанил костяшками пальцев. Дубовый массив глушил, душил звук, и Махно досадливо поморщился.

— Войдите! — донеслось из-за двери.

После мрачного коридора просторная квадратная комната, полная света, радовала, как солнечная прореха в тучах. Высокое стрельчатое окно было чисто вымыто. На

подоконнике, не доставая ногами до пола, сидел какой-то человек в военном френчике и вопросительно глядел на вошедших круглыми глазами цвета темной омутной воды. Двое других помещались за круглым обеденным столом; один, с залысынами, в пенсне, быстро что-то писал, почти вплотную приблизив лицо к тетрадному листу, второй, откинув голову, читал дурно отпечатанную брошюру.

— Вы к кому, товарищи? — спросил с подоконника круглоглазый.

— Мы ищем ВЦИК Советов, — сказал Махно.

— А там же написано, — соскакивая с подоконника, сказал круглоглазый, — на двери. Бумажка, наверно, слетела... Я пошел, Владимир Михайлович, увидимся в секретариате. Идемте, товарищи, я вам покажу! — Сунув под мышку портфель, он безответно кивнул увлеченному читателю брошюры и вслед за Махно и Семеном Веселовским вышел в коридор.

— Это Лубоцкий, — как-то невпопад сказал круглоглазый.

— Какой Лубоцкий? — спросил Махно.

— Ну, Загорский, — пояснил круглоглазый. — В пенсне. А вы откуда, товарищи?

— С Украины, — сказал Махно.

— Там у вас неразбериха, черт знает что, — прижимая портфель к боку, круглоглазый коротко махнул рукой. — Ведь верно?

— А вы, простите, кто будете? — ровным голосом спросил Махно.

— Бухарин, — представился круглоглазый, — Николай Иванович.

— Я вас узнал, — удовлетворенно сказал Махно. — И Загорского узнал, он вчера выступал в клубе на Стромынке, я там был.

— У нас о ситуации на Украине самые разноречивые сведения, — озабоченно сказал Бухарин. — Связь никудышная, знаете ли, каждый рассказывает, что ему в голову взбредет... Вам вот сюда! — Он указал на дверь без вывески и, кивнув, стал торопливо спускаться по лестнице.

— А почему вы не представились? — шепотом спросил Семен.

— А он не спрашивал, — сказал Махно. — И потом, назовешься, а они — крак! — Махно скрестил запястья, как будто на них зашелкнули наручники.

— Но у нас же с ними мир! — возмутился Семен Веселовский.

— Мир, мир! — подтвердил Махно. — Мир кота с мышью: доверяй, да проверяй! Мы им сейчас нужны, вот и мир. А с кем им мириться? С белыми? Да и мы к ним все же ближе, чем к тем же белым... Ну, пошли!

В кабинете, оказавшемся приемной, сидел за конторкой, как сторожевой пес, крупный плешивый мужчина с изнуренным то ли бессонницею, то ли болезнью лицом. За его спиной блестела лаком торжественная резная дверь, без таблички и без следов ее, ведшая в неведомое помещение.

— Вам чего? — колко оглядев посетителей и не трогаясь из-за своей конторки им навстречу, спросил плешивый.

— Комнату нам надо, — коротко объяснил Махно. — Для жилья. Бесплатную.

Плешивый ничуть не удивился и, протянув большую руку цвета сырого теста, потребовал документы. У Махно было заготовлено три комплекта по разным карманам, все на разные имена. Достав нужный, он, не прикасаясь к требовательно протянутой руке плешивого, положил потертую пачечку документов на конторку.

— Так вы с Юга России? — проглядывая бумаги, спросил плешивый.

— С Украины, — поправил Махно.

— Вы председатель комитета защиты революции времен Керенского? — пропустил мимо ушей плешивый.

— Да, был, — презрительно глядя на склоненный лоб плешивого, ответил Махно.

— Значит, вы социал-революционер? — не подымая головы, спросил плешивый.

— Нет, — отрезал Махно, и Семен Веселовский почувствовал, как в груди у него, пониже ребер, пугливо вспорхнул и захлопал крыльями целый рой бабочек: он уже видел себя в тюремном подвале, у стены, и этого плешивого, с тяжелым лбом, с пистолетом в белой руке.

— Какие связи имеете или имели от партии большевиков? — продолжал пытаться плешивый.

— Знаю Михайлевича, председателя александровского ревкома, — сказал Махно, — потом из Екатеринослава знаю Когана Льва, Овруцкого.

Плешивый наконец закончил читать документы и, аккуратно сложив, придвинул всю стопочку к Махно.

— Так что же будет с комнатой? — пряча документы, спросил Махно. — Нам с товарищем негде спать.

— Хорошо, хорошо! — неизвестно чему обрадовался плешивый. — Вы мне лучше расскажите-ка о том, как ваша крестьянская масса относится к советской власти и, в первую очередь, к красногвардейским отрядам.

— Бьет их, — глядя в окно, сказал Махно.

— То есть как это — бьет? — поморщился, как от кислого, плешивый. — Красногвардейцы, гражданин, имеют столкновения с бандитскими группировками!

За спиной плешивого торжественная дверь открылась без скрипа, на пороге стоял Свердлов с бородкой клином, в пенсне на шнурке.

— А бандиты эти — кто? — терпеливо спросил Махно. — Не крестьянская масса? Горожане, что ли? Или немцы с французами?

Семен узнал Председателя ВЦИКа, стоял очумело. Узнал Свердлова и Махно, но виду не показал.

— Вы с юга России, товарищ? — внимательно глядя, мягко спросил Свердлов.

Плешивый повернулся к Свердлову, как на хорошо смазанном шарнире.

— С Украины мы, Яков Михайлович, — сказал Махно. — Вот, комнату хотим получить на неделю, бесплатную.

— Документы в порядке, — доложил плешивый, а Свердлов, с интересом вглядываясь в Махно, сказал:

— Ну, вот и прекрасно... Давно с Юга?

— Только прибыли, — удержался Махно от географических уточнений.

— Нелегально? — спросил Свердлов.

— Да кто сейчас по Украине легально ездит! — улыбнулся Махно, и улыбка у него вышла открытая, детская. — Трясут друг друга все, кому не лень: и белые, и зеленые, и желто-блакитные, каких только не развелось!

— А красные? — вставил Свердлов.

— Мало, — сказал Махно. — Красные вдоль железных дорог, а больше и нету.

— Как так? — удивился Свердлов, и в голосе его слышалась досада.

— Ну, как! — Махно дурашливо развел руками. — Красногвардейцы на своих бронепоездах ездят по рельсам туда-сюда, а в Поле не идут.

— Вы... сами видели? — помедлил с вопросом Свердлов. — Или, может, вам кто-нибудь рассказывал?

— Да какой там рассказывал! — возмутился Махно. — Я сам с месяц назад бронепоезд „Верный“ от атамана Хомяка Григория отбил — он рельсы завернул и напал со своими людьми на красногвардейцев. А мне донесли, я взял сотню и поехал отбил.

— Как завернул?.. — жмурясь под стеклышками пенсне, спросил Свердлов.

— Быками, — сказал Махно.

Секретарь за конторкой неодобрительно помотал своей плешивой головой, а Свердлов, недоуменно глядя, пробормотал:

— Просто возмутительно... — как будто, если б Хомяк Григорий рельсы завернул не быками, а взорвал бы их или разобрал — это поменяло бы дело.

— А у нас тут другие сведения! — сказал плешивый из-за конторки.

Махно не стал возражать плешивому, глядел в окно.

— Знаете, товарищ, — снова заговорил Свердлов, — не могли бы вы рассказать поподробней о положении в ваших краях? Завтра, например? Вам, наверно, надо подготовиться?

— Да что ж мне готовиться! — немедля откликнулся Махно. — Я до завтра нового ничего не придумаю: что знаю, то и знаю. Да и спать нам негде, места нет.

— Хорошо, хорошо! — как раньше плешивый, принял эту жалобу Свердлов. — Мы это устроим... Ну, тогда пойдемте, может быть, получится сегодня.

Они вышли, под понурым взглядом плешивого, из комнаты, прошли коридор и поднялись по лестнице. На третьем этаже было посветлей, а дверей там было поменьше. Около одной из них, двустворчатой, Свердлов остановился, сказал:

„Подождите минутку!” — и вошел, не постучав. Почти тотчас он вернулся и, придерживая дверь, позвал: „Входите, входите!”

Не задерживаясь, прошли они мимо двух вооруженных мужчин и секретарши в следующий, запроходной кабинет и очутились в просторной высокой комнате, у окна которой, наискось забранного тяжелой шторой, стоял письменный стол с полукруглым креслом за ним. Кресло было свободно: хозяин кабинета стоял рядом с переписчиком, примостившимся со своим снаряжением у края стола.

— Вы, пожалуйста, закончите это к четырем часам, — сказал хозяин кабинета, а потом повернулся навстречу вошедшим.

— Хорошо, Владимир Ильич, сделаю, — сказал переписчик, подымаясь с бумагами в руках.

— Вот, Владимир Ильич, первоисточник, — подождав, когда за переписчиком затворится дверь, сказал Свердлов. — Сведения, можно сказать, из первых рук. — И отошел в угол кабинета, сел там. Отошел и Семен, придвинул, стараясь не шуметь, стул поближе к стене и опустился на высокое пружинное сиденье. Над его плечом, на стене, висела картина: редкий утренний лес, река, лошадь с торбой на морде. Светлая лесная река, казалось, соединяла Семена Веселовского со Свердловым, а лошадь жевала свой овес меж ними, посредине.

— Вы из каких мест, товарищ? — спросил Ленин, стоя перед Махно. Они были одного роста, и эта вот малорослость сближала их, но и настораживала — как случайно столкнувшихся лоб в лоб людей одного ордена, узнающих друг друга по тайному признаку.

— Из Гуляйполя, с Украины, — сказал Махно.

— А этот товарищ? — Ленин повернул тяжелую голову и, журуя глаза, посмотрел на Семена Веселовского.

— И он оттуда, — сказал Махно.

— Садитесь, садитесь, — взяв Махно за локоть, правой рукою легко касаясь его плеча, Ленин подвел гостя к креслу — не хозяйскому, другому, усадил его, а потом сам уселся напротив, на стул, и наклонился вперед ожидающе.

Махно сидел прямо, молчал.

— Так почему же, — еще больше сгорбился Ленин, — ваши крестьяне не идут на соединение с красноармейцами, не идут вместе с ними на борьбу с контрреволюцией? Что им мешает?

— Крестьяне живут по всему Полю, — четко, как на экзамене, ответил Махно, — а красноармейцы сидят в своих составах, дальше, чем на десять-двенадцать верст, не отходят от линии железной дороги для боевых действий. Провели бой, сели в поезд и дальше поехали. А крестьяне нуждаются в постоянной защите — от красных, от белых, от атаманов. Кто защитит их хату, их корову? Кто им оружие даст? Вот с теми они и пойдут.

— Вы сказали, — подал голос Свердлов со своего места, — что банды — это та же крестьянская масса. Тогда получается, что эта масса ищет защиты сама от себя?

— Бандитские атаманы — просто степные разбойники, — не отводя взгляда от рыжеватого ленинского лба, сказал Махно. — Свою деревню они не трогают, а чужую стригут.

— Ну, не можем же мы к каждой овце приставить красноармейца! — с явной досадой заметил Ленин. — А раздать оружие — еще неизвестно, против кого оно завтра будет повернуто. Одним ружьем больше, одним атаманом меньше — это ничего не решит. Мы ищем общее решение, и ключ к нему — наш лозунг „Вся власть советам на местах”. Как понимают его крестьяне?

— Это очень хороший лозунг, — убежденно сказал Махно, и Ленин, выпрямившись на стуле, качнул головой и улыбнулся, — и по-крестьянски так получается: все без исключения вопросы обсуждаются выборными в совете, а утверждаются на общей сходке. Это первое. Второе: выборные советы — не более, чем единицы революционного группирования и хозяйственного самоуправления...

— Думаете ли вы, — перебил Ленин, — что такое понимание нашего лозунга — правильное понимание?

— Да, — сказал Махно.

— В таком случае, крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом, — подвел черту Ленин и шлепнул ребром ладони по колену.

— А разве это плохо? — скользнув взглядом по закрытой двери, спросил Махно.

— Я этого не говорю, — сказал Ленин. — Напротив, это отрадно для данного этапа: анархисты помогают нам, они приближают победу коммунизма над капитализмом. — И, внимательно взглянув на Махно, добавил: — И его властью... Ведь вы анархист, товарищ, не так ли?

— Я анархо-коммунист, кропоткинец, — сказал Махно и пригнулся, оперся локтями о колени и глядел теперь на Ленина снизу вверх из своего кресла. — Почему вы говорите — на данном этапе? А потом? — Семен Веселовский слышал в голосе Махно даже не тревогу, а слепую, придушенную тоску, и ему хотелось подняться со своего стула и уйти с Нестором Ивановичем из этой толстостенной комнаты, от этого человека, похожего на маленькую капсулу, в которой пузырится и кипит безраздельная, абсолютная власть над людьми, над всеми и над каждым, над Махно и над Свердловым, и над ним, Семеном Веселовским. И, глядя на низкий ленинский затылок, на его беспокойные руки, он вспомнил с благодарностью, как последнее перед смертью, ту старуху из сельхозкоммуны, вылавливающую птичьими пальцами комочки хлеба из миски с молоком.

— У анархистов нет своей серьезной организации широкого масштаба, — сказал Ленин, — а у нас есть такая организация. Анархисты не могут и не смогут организовывать пролетариат и беднейшее крестьянство и, следовательно, не могут и не смогут подымать их на защиту, в широком смысле этого слова, того, что завоевано всеми нами сообща и всем нам дорого.

Махно молчал.

— Поэтому, — как бы впитав и усвоив сказанное, продолжал Ленин, — наш союз вполне естествен, хотя бы потому, что у вас нет иного выхода — как бы вы к нам критически ни относились, не с белыми же контрреволюционерами вам идти против нас! Но этот союз имеет временный характер, продиктованный и нам, и вам чрезвычайными обстоятельствами: смертельной угрозой со стороны общего врага. Как только контрреволюция будет раздавлена, наш союз распадется, это диалектически неоспоримо... Но вернемся, товарищи к военным, каждодневным, так сказать, проблемам!

— Перед нашими бронепоездами бандиты рельсы быками заворачивают! — напомнил Свердлов.

— Заворачивают, заворачивают, — вяло подтвердил Махно. — И впереди поезда, и сзади: впрягают быков и тащат. И бронепоезд попадает в мышеловку. — Семен Веселовский со своего места видел, что бандитские тактические приемы ничуть не волнуют Махно, да и Ленин, в отличие от Свердлова, никак на них не отреагировал: не возмутился, не улыбнулся.

— Что вы скажете о боевом духе, о боеспособности наших отрядов? — спросил Ленин.

— Низкая, — сказал Махно. — Бойцы чувствуют свою привязанность к железной дороге, видят в ней спасительницу: чуть что — сел да уехал. Только на подходах к узловым станциям они по-настоящему выгружаются, принимают фронт и атакуют. А что у них в тылу или за линией фронта — они ничего этого не знают, боевая ситуация остается невыясненной.

— Вот вы, местные революционеры, и поделились бы с ними своими разведанными! — Ленин живо поднялся со стула, зашагал по комнате, потирая руки. — Это был бы замечательный пример боевого революционного сотрудничества. Но ведь вы этого не делаете!

— Это здесь, Владимир Ильич, легко говорить! — с горечью сказал Махно. — А на местах каждый ваш командиршка держит себя, как какой генерал-губернатор: командует, распоряжается. А если его люди пограбили где или убили кого из мирных жителей, он, вместо того чтоб их на месте расстрелять, говорит: это, мол, не мы, это махновцы сделали! Как мы можем таким командирам доверять?

— Вы правы, товарищ, но это, должно быть, исключения, — подал голос Свердлов, и Семен Веселовский незаметно отодвинулся от него вместе со своим стулом. Река с картины больше их не соединяла.

— Ерунда! — Ленин резко взмахнул рукой. — Временные трудности, необходимо учитывать сложность обстановки! Настоящий революционер ради общей цели не должен обращать внимания на такие мелочи... Но вот узловая станция взята. Что дальше?

— Ваше командование не успевает даже выпустить воззвание к населению района, — сердито сказал Махно. — Белые отходят, перегруппировываются и контратакуют. И

ваши бойцы бегут на десятки верст в своем эшелоне, а крестьяне в деревнях их даже и не видят. Поэтому никакой поддержки от крестьян нечего ждать: близок локоть, да не укусишь...

— Ну, соответствующую поговорку, товарищ, к каждому случаю можно подобрать! — Ленин снова коротко взмахнул рукой, досадливо. — Пословицы, знаете ли, не метод, это только отход от существа дела... Но вот то, что вы рассказали о действиях наших отрядов, — это ценно, это чрезвычайно ценно! Какой вы видите путь к исправлению положения? Готовы ли вы нам помогать?

— В боевом отношении — да! — твердо сказал Махно.

— Разумеется, в боевом, — чуть заметно усмехнулся Ленин. — По данным нашей разведки, Деникин собирается начать наступление на Москву. Он пойдет через ваши края, возможно, через Умань. Если мы его не остановим уже на Юге, над завоеваниями революции нависнет угроза. Реальнейшая угроза! Подымите ваших крестьян, помогите нам остановить Деникина. Это не моя просьба, это требование революции!

— Наши бойцы под ваше командование не пойдут, — Махно рывком поднялся с кресла, заходил, забегал по комнате, и так они двигались оба — Махно и Ленин, так перемещались, то сближаясь, то расходясь, — два маленьких человечка в четырех стенах, два сгустка энергии, силы и хитрости. — А если б и пошли — толку из этого не будет: мы по-другому воюем, по-крестьянски воюем, а не по царской науке. Вы нам не мешайте, мы сами остановим Деникина.

Они остановились разом, в разных углах комнаты и, повернувшись, медленно пошли навстречу друг другу.

— А я знаю, о чем вы сейчас думаете, — с победно откинутой головой стоя перед Махно, сказал Ленин. — Поверьте мне, если б таких анархо-коммунистов, как вы, была бы хотя бы одна треть в России — мы, коммунисты, готовы были бы идти с вами и совместно работать на пользу свободной организации производителей. Но ведь вы знаете своих анархистов не хуже, чем я...

— Да, знаю, — ровно сказал Махно. — И, какие мы ни есть — мы остановим Деникина.

— Я верю, что вы сможете это сделать, — помолчав, сказал Ленин. — Может, только вы и сможете... Итак, вам нужно перебраться нелегально на свою Украину? Хотите воспользоваться моим содействием?

— Украину? — Махно насмешливо прищурился, голос его звучал уверенно, почти вызывающе. — Вы же Украину считаете Югом России!

— Считать — одно, товарищ, а видеть в действительном свете — совсем другое дело, — наклонив голову к плечу, сказал Ленин. — Кто у нас занимается Украиной? — Он повернулся к Свердлову. — Затонский? Или Карпенко? Свяжите, пожалуйста, товарищей и проследите лично за всеми деталями. В случае необходимости — прямо ко мне.

Провожаемые взглядами часовых, они вышли из кремлевских ворот на пустынную площадь. Накрапывал дождь, ветер гнал по линиялому небу катышки облаков.

— Все равно нам с ними не идти, — не глядя на Семена Веселовского, сказал Махно. — Они мужика продадут.

— А Деникин? — спросил Семен.

— А Деникин — это другая статья, — сказал Махно. — Это, как они говорят, „требование текущего момента“.

— Большие люди... — тоскливо пробормотал Семен Веселовский.

— Лбы у них в небесах, — глядя под ноги, сказал Махно, — а ноги, как у нас, в крови и в дерьме... Ну, пошли, Семен! Про квартиру-то мы с тобой, дураки, забыли — не возвращаться же из-за этого. Пошли!

Занятый своими мыслями, он прибавил шагу, и Семен Веселовский, чуть отстав, едва за ним поспевал.

11. ВОПРОС ДЛЯ КАЖДОГО

На узловой станции Кисловка красные укрепились прочно: там стоял Хоперский казачий полк, недавно укомплектованный, и батарейцы катали свои пушки по пригородной роще. Три сотни особого назначения подчинялись непосредственно Иуде Губельману.

Иуда Губельман сидел председателем Кисловской ЧК, помощником и правой рукою Иуды был Рувим Веселовский.

ЧК разместилась в здании старинного монастыря — со своим оперативным отделом, следователями и подвальной тюрьмой, где в запахи гноя и испражнений нет-нет и вкрадывался нездешний аромат вина, копченостей и квашеной капусты: в недавние времена монахи хранили тут провиант... Арестованные подолгу в подвале не засиживались: их выводили по трое, цепкой, в овраг, носивший название Сухая балка, и расстреливали. Командовал расстрельщиками, числом пять, хромой мускулистый мужик, родом с Севера, из лесного села Верхний Волок. У этого мужика, которого связанные с ним по службе люди звали почему-то Нога, а он равнодушно откликался, — у этого Ноги были свои несводимые счёты с миром: прошлым летом, словив его на Кубани, белые долго измывались над палачом, подвешивали за лодыжки, били нагайкой меж ногами — и повредили-таки его организм. Помимо хромоты, Нога страдал с тех пор мужским бессилием, и это обстоятельство бесило его: иногда, не часто, он напивался до омертвения, до белых глаз, и тогда свиде-

тели его гулянки, шкодливо ухмыляясь, говорили друг другу: „Нога-то...” и делали указательным пальцем жест, не оставлявший сомнений в том, что стряслось с Ногой.

Ровный в своей нерасположенности к людям — как вольным, так и приговоренным уже к смерти и отданным в его руки, — Нога выделял из людской массы Рувима Веселовского и испытывал к нему приязнь. Происходило это оттого, что Рувим никогда, ни разу не проявил любопытства по поводу постыдного недуга Ноги — в отличие от других чекистов, любопытствовавших. Поинтересовался как-то — правда, с серьезным, чересчур серьезным лицом — и Иуда Губельман: а не знает ли Нога имен тех контрреволюционных мучителей, которые отшибли ему детородный корень. Нога ответил начальству, что — нет, не знает, что они с ним за руку не здоровались. Ответ вышел дерзким, Иуда пожал плечами и пошел, куда ему надо было. А Рувим Веселовский — тот никогда не спрашивал и вообще никогда не заговаривал с Ногой.

Подписывая ежедневно смертные приговоры и зачастую посылая на расстрел людей, которых он и в глаза не видел, Рувим испытывал к исполнителю своих приказов тошнотное, рвотное отвращение и страх — и никогда не заговаривал с Ногой. А Нога принимал эту заячью немоту за доброту — и, по-своему, платил Рувиму Веселовскому тем же. Однажды он принес и молча поставил в углу Рувимова кабинета пару вполне подходящих еще сапог, в другой раз положил на его стол аккуратно сложенный носовой платок с вышитой красным шелком монограммой „А.М.”. Этот неизвестный „А.М.”, расстрелянный по его, Рувимовой, воле, несколько дней потом неотвязно мучил его воображение. В конце концов, скомкав, он выбросил платок в помойку. А сапоги — взял.

И, с омерзением принимая липкое дружелюбие Ноги, Рувим думал: „А меня он — расстрелял бы? Нет, меня бы — не расстрелял”. И на том, видя свое особое положение среди обитателей монастыря, и городка, и, может, всего мира, — успокаивался.

Иуда Губельман в монастыре появлялся редко — рыскал по краю, ночевал в Поле. Следом за Иудой, по его следам, набегали на села и хутора чекисты — и в распахнутых нас-

тежь хатах кричали бабы, дети им подвывали, и монастырский подвал не безлюдел. Сухой, злой огонь жег душу Иуды: Революции, которую он ощущал как дочь, как единственное свое дитя, грозила на каждом шагу смерть. И каждого, кто сомневался в его отцовских правах, он готов был уничтожить во имя будущего Революции.

Кабинет Иуды Губельмана служил ему и спальней, и столовой, и библиотекой: с десяток потрепанных книжек и брошюр лежало тут на диване, в углу висел над тазом цинковый, с латунным носиком рукомойник, в одном из ящиков письменного стола помещался разномастный столовый прибор — пара тарелок, вилка с ложкой, эмалированная надколотая кружка. Покуда рыскал Иуда в Поле, кабинетом пользовался Рувим.

Придавив Иудиной кружкой крупно исписанный лист бумаги, Рувим перечитывал: „По осведомлению попа Севастьянова. Гр. Лупанарова Александра Викентьевича за контрреволюционную пропаганду в церкви расстрелять. Нач. следственной части Викулов”. Чуть ниже значилось: „Утверждаю”. Здесь, перед этим „Утверждаю”, Рувим должен был поставить свою подпись — и бумага ушла бы к Ноге, и Нога, связав Лупанарову руки за спиной, повел бы его в Сухую балку... Рувим Веселовский и сам не знал, что мешало ему подмахнуть бумагу — может, редкая фамилия приговоренного, может, что иное, неизвестно что. Взяв карандаш, Рувим поправил очки и поставил за „Утверждаю” вопросительный знак. Знает ли Иуда об этом Лупанарове? Конечно, заниматься контрреволюционной пропагандой в церкви — преступление. Сегодня — это, а завтра такой Александр Викентьевич подастся к белым или в банду, от слов перейдет к делу. А если не подастся, не перейдет? Кто он? Врач? Поп? Нет, поп — тот донес. Старик? Просто болтун? Но тогда почему в церкви? А может, Викулов что-нибудь напутал, не разобрался — с ним это случается. А и не подписывать — что это изменит? Приедет Иуда и подпишет. Но можно взять да и отпустить Лупанарова, сказать Ноге — даже ничего не писать, а только сказать — и он пойдет в подвал и отпустит. А бумажку эту порвать, она ведь в одном-единственном экземпляре. Измятая, со следом от донца нечистой кружки бумажка — и жизнь Александра

Викентьевича Лупанарова, что-то сболтнувшего или просто проворчавшего о новых, непривычных еще порядках. Жизнь не только его самого — но и еще не рожденных им детей, мальчиков и девочек, и детей этих детей, целой живой кроны, растающей в вечные времена. Только подпись, несколько бессмысленных закорючек на грязной бумажонке — и ничего этого не будет: ни кроны, ни самого ствола. Но, может, он уже старик, этот Лупанаров, сидящий в подвале, под замызганным полом кабинета, в двух метрах от Рувима Веселовского?

— Эй! — крикнул Рувим и стукнул ладонью по столу. — Кто там есть!

Дверь приотворилась, в комнату заглянул дежурный.

— Сбегай к Викулову, — сказал Рувим Веселовский, — спроси: Лупанарову сколько лет? Лупанаров — запомнишь?

— Лу-па-наров, — повторил дежурный и закрыл дверь, исчез.

Если он старик, это проще, думал Рувим Веселовский, с беспокойством глядя на бумажный лист перед собою. Сдвинув кружку, он посмотрел его на просвет — дрянная бумага, неровное жирное пятно сбоку, ничего особенного. Он чувствовал зыбкую, тревожную связь между этим листом бумаги, собою и сидящим в подвале незнакомым ему человеком, и безумная мысль — отпустить Лупанарова — не оставляла его. Он помотал головой, тихонько постучал себя кулаком по лбу. Поставить подпись — и связь обретет последнее, недостающее звено, окрепнет вмиг, сделается неразрывной, вечной. Кто, какой идиот дал ему эту дурацкую фамилию? Был бы Иванов или Петров — и Нога вел бы его сейчас в Сухую балку, и не лезла бы никакая чертовщина в голову Рувима Веселовского! „Если ему меньше сорока, я его отпущу, — холодея, решил Рувим. — Нет, меньше тридцати”.

Дверь снова приотворилась.

— Девятнадцать ему, товарищ комиссар, — доложил дежурный. — Ну, этому, как его...

— Приведи его, — не глядя на дежурного, приказал Рувим.

Дежурный брякнул дверью, его сапоги весело застучали по каменным ступеням лестницы, ведущей в подвал.

Вот, думал Рувим, сейчас его приведут. Господи, зачем он мне нужен, зачем я вызвал его? Ведь я, по существу, палач, такой же, как Нога, — так о чем же нам с ним говорить? Может, дать ему чаю попить? Он, наверно, упадет на колени, будет плакать. Зачем мне это? Поглядеть, как он будет меня благодарить, руки мне целовать — и дрожать от страха, что я передумаю, не отпущу? Может, доброе дело тоже требует оплаты, и я просто ищу благодарности, хочу получить ее из рук в руки? Вот я, кажется, впервые в жизни хочу сделать доброе дело — и уже заранее запрашиваю цену: ведь поглядеть на счастье спасенного тобой от смерти, на такой спектакль — это тоже цена, и высокая. Куда более высокая, чем ужас приговоренного перед расстрелом: это всякий видел, ну, скажем, не всякий, просто по нашим временам никто друг друга не спасает, все друг друга расстреливают, а плату за спасенье от Ноги не измерить, не взвесить... Рувим Веселовский сбросил очки со лба на переносицу, перечитал приговор и перевернул лист исписанной стороной книзу, к подвалу. Ему вдруг пришло в голову, что весь мир — как этот монастырь: горстка чекистов сидит на первом этаже, а все остальные люди дожидаются в подвале, когда за ними придет Нога. И ему стало спокойней, уверенней.

Дежурный втолкнул приговоренного в комнату, заглянул и скрылся.

— Доброе утро! — сказал Лупанаров, щурясь на свет окна. Он выглядел старше своих лет — по-татарски скуластый, со смуглым лицом, на котором темно-голубые глаза светились напряженно-ярким, синим накалом, а прямые русые волосы на фоне темного лба казались совсем светлыми, соломенными.

— Доброе, вы говорите? — проворчал Рувим Веселовский. — Ну, что ж... Вы священник?

— Нет, что вы! — сказал Лупанаров. — Я из семьи церковнослужителей, да, это верно. Отец мой покойный, Викентий, был священником, и дядья, правда, не все, только трое. Но я с отцом и не встретился.

— Не встретились? — повторил Рувим.

— Он утонул до моего рожденья еще, — спокойно, как об обычном, сказал Лупанаров. — Лед на реке подтаял по весне, лошадь его провалилась... А вы — иудей?

— Что? — изумился вопросу Рувим.

— Нет, ничего... — смешался Лупанаров. — Просто я спросил...

— Я еврей, — жестко перебил Рувим. — Это что, имеет значение?

— Нет-нет, вы не подумайте! — защитно подымая руки ладонями вперед, воскликнул Лупанаров.

— Вы отвечайте на вопросы, — сухо заметил Рувим. — Подумаю я или не подумаю — это дело не ваше.

— Хорошо, — послушно согласился Лупанаров. — Но, честное слово, я не о национальности, я о Боге.

— О Боге? — снова удивился Рувим. — Я атеист!

— Ну вот видите, — удовлетворенно кивнул головой Лупанаров. — Атеизм ведь тоже на голом месте не растет. Атеизм — противопоставление Богу, вере. Сначала был Бог, а потом уже появилось неверие в него. Ведь верно?

— Нет никакого Бога, — с улыбкой глядя на Лупанарова, сказал Рувим Веселовский, — что вы чушь мелете.

— Я не говорю, что есть Бог, — наклонив голову на сильной шее, сказал Лупанаров, — я же этого не знаю. Я только говорю, что есть вера в Бога.

— Вера есть, — возя Иудину кружку по приговору, согласился Рувим. — Но все это предрассудки, мало ли на свете предрассудков!

— Ну и что ж! — как бы даже обрадовался Лупанаров. — А вот вы знаете, какой вопрос задает себе хоть раз в жизни всякий человек, богатый и нищий, белый и черный, русский или еврей? Один вопрос на весь мир, на каком только хотите языке, и нет такого человека, который бы от этого вопроса убежал куда-нибудь. На этом вопросе мир стоит, он у каждого в душе, его оттуда никакими клещами не вытащить! И вы себе этот вопрос задавали, спрашивали себя, еще до того, как стали атеистом.

— Ну, какой вопрос? — иронически щурясь, потребовал Рувим.

— А есть ли Бог? — легко, не повысив голоса, сказал Лупанаров. — И уже потом каждый отвечает: „да”, или „нет”, или „не знаю”. Видите, ответов-то целых три, а вопрос — один, один для всех, с самого начала! Это же интересно как, если подумать: сначала вопрос всех, всех объеди-

няет, делает равными ну хоть перед ответом! А потом как волк какой, людей на куски дерет, глупость какая, у одних Бог с бородой, у других без бороды, у третьих вообще его нет, и каждый знает, что он прав, и бьются, и дерутся... А вопрос-то — один, на всю жизнь, хоть сто лет проживи, хоть двадцать.

— Ну, знаете ли... — Рувим побарабанил пальцами по столу, помолчал немного. — Евреев давайте оставим в стороне, у них, поверьте мне, свое представление о Боге, довольно стройное, хотя, по сути своей, такое же наивное, как у каких-нибудь чукчей с их бубнами. Но ваш Иисус Христос! Его история в определенном смысле замечательна: бунтарь, отчасти даже, можно сказать, революционер! Первобытный социалист! И вдруг — на тебе: сын Божий. Да это просто болезненная фантазия, пошлость!

— Сын своего отца, кем бы он ни был, — тихо сказал Лупанаров.

— Кто? — крикнул Рувим. — Бог-отец — что это?!

— Не Бог-отец, — мягко поправил Лупанаров, — вы ошибаетесь. Отец — Бог. Отец, который его сотворил, творец. И ваш отец — творец, и мой. У вас есть отец?

— Есть, — сказал Рувим, и вдруг увидел перед собою Иону Лазаревича, такого серебряного за полированным овальным столом, в такой родной столовой — и испытал удушающий прилив нежности, какой давным-давно уже не испытывал, может быть, никогда.

— Отец — Бог! — с нажимом повторил Лупанаров. — Это никакой не разум, это — в нас, как сердце, как мозг, это существует в нас и работает от рождения до смерти. Не мать, нет — отец! Я не знаю, почему не мать. А вы знаете?

— Нет, — взглядываясь сквозь очки, сказал Рувим — но Фрума Борисовна не появилась, не пришла, и Рувим опустил глаза. Приговор зиял перед ним на столе, на коричневой доске.

— И для Иисуса отец был — Бог, чудо, — продолжал Лупанаров. — Память об отце — живом или мертвом — это и есть вера: ты маленький, ничего не смыслишь рядом с отцом, и это так приятно, хорошо — а отец сильный, руки у него большие, он добрый. „Зачем покинул меня?“ — это ведь

Иисус к отцу! А потом придумали всякое, все перевернули с ног на голову...

— Придумали — зачем? — отрывисто спросил Рувим.

— Да почему же я знаю! — вздохнул Лупанаров. — Ведь если б на один вопрос и ответ один был бы для всех — какая скука наступила б...

— Единомыслие вы имеете в виду, единомыслие, — пробубнил Рувим. — Ни борьбы, выходит дело, ни победы рабочего класса! Так? — Лупанаров своими речами раздражал Рувима Веселовского, злил. Сначала надо раздавить мировое зло, мировой нарыв — а потом уже в покое и тишине разбираться, с кем там Христос говорил с креста.

— Нет, — сказал Лупанаров. — При чем тут рабочий класс?! Речь все же у нас тут о душе идет, а не о мускулах: цирковой борец сильнее самого лучшего рабочего, а лошадь сильнее борца... Никак нельзя там мир делить и одних людей ставить над другими потому, что у них профессия особая. Да и вы ведь тоже — не рабочий класс!

— Была бы, как вы говорите, скука в мире, — сердито сказал Рувим Веселовский, — так никто бы вас не арестовал за контрреволюционные разговоры в церкви. Чем вы вообще занимаетесь?

— Огородничаю, — сказал Лупанаров. — Капуста, лук. Немного моркови. Хватает на еду и поменять на хлеб.

— Что в церкви делали? С попом Севастьяновым знакомы?

— Нет, не знаком. И не в церкви, а во дворе, и говорил, что и вам, — сказал Лупанаров. — Если с вами можно об этом говорить, разве с другими людьми нельзя?

— Нельзя, — сказал Рувим Веселовский. — Для вашей же пользы.

— Вопрос-то один, как вера, — покорно сказал Лупанаров. — А правд — много: каждый прав, а все вместе не правы.

— Правда — одна! — Рувим стукнул кулаком по столу, по листку приговора. — Наша, революционная правда! И тот, кто стоит на нашем пути, должен быть уничтожен!

Лупанаров тихонько пожал плечами, стоял молча, глядел в окно, за которым торчала, запирая небо, сложенная из красного кирпича, подернутая вековой патиной зеленоватой плесени монастырская стена. Это лупанаровское отсутствующее

щее молчание злило Рувима Веселовского, бесил этот небрежный, гадливый пожим плечами — как будто чужая, не его смерть лежала на столе вниз лицом, и стоило только перевернуть ее, взять карандаш в руку... Много правд! Да такие мысли сегодня опасней целого арсенала, опасней Махно с Деникиным! Если „много правд” — значит, и веры никакой нет в неизбежное торжество революции. Революция победит, и тот, кто сомневается в победе — предатель! Этот Лупанаров, этот пустозвон — сомневается, и сомнения его заразной чумы. Вот даже и он, комиссар Рувим Веселовский, слушал его ядовитые рассуждения — вместо того, чтобы вышвырнуть отсюда этого огородника. Он слушал и готов был усомниться, и теперь, когда Лупанаров молчал, глядя в окно, эта готовность слушать казалась Рувиму Веселовскому таким же преступлением, которое, говоря, совершал Лупанаров. Он, Рувим, становился таким образом как бы соучастником этого контрреволюционера, этого врага. И это было страшно.

— Дежурный! — глядя мимо Лупанарова, крикнул Рувим. — Увести!

Но и после ухода Лупанарова злость осталась, и страх остался.

Правд было много, и следовало уничтожить их все, кроме одной — его, Рувимовой, революционной правды. А если в чем будет допущена ошибка — будущим поколениям об этом судить, поколениям, которые должны быть счастливыми.

Если...

Рувим сомневался, и Лупанаров был в этом виновен.

Перевернув лист приговора, Рувим, корябая бумагу, вывел перед „Утверждаю” свое имя. Потом, помедлив, написал: „Попа Севастьянова — также к расстрелу”. И снова расписался, теперь уже легко, летуче.

12. ОТСТУПЛЕНИЕ О ПОПУГАЕ КОТИКЕ

— Рабинович отказал, — холодно глядя, сказал Леви. — И точка.

— Какой Рабинович, Марк? — недоверчиво спросил Борис Веселовский. Это нелепо звучало: здесь, в Крыму, в Севастополе, какой-то Рабинович кому-то в чем-то отказал — и точка... Ивановы здесь отказывают и приказывают.

— Нет, не Рабинович, — поправился Марк Леви, заряжающий из кацмановской пулеметной команды. — Беркович отказал. Нет, не Беркович — Буркевиц отказал! И вот тогда уже точка... Буркевиц — мрачный и непреклонный, со спичечными вспышками глубинного родового юморка, мало кому понятного, а потому как бы зашифрованного, двусмысленного, Буркевиц в ветхих, но неукоснительно мытых и глаженных подштанниках, которые он ночью, при свете копилки собственноручно штопает, подведя под дырку деревянный бабкин грибок.

— Какой Буркевиц? — снова спросил Борис Веселовский.

— Какой, какой? — подняв глаза от тарелки, уходящим эхом повторила Варенька.

— Я же вам, помните, рассказывал, — с почти неслышимой досадой сказал Леви, — молодой человек, прикрывающий лицо вялым фиговым листком — вместо того, чтобы прятать под ним безликие гениталии, подлец, как все мы, потом завзятый кокаинист. Ну что еще? Болезнь, жажда жить, отчаяние — и вдруг эта крепчайшая уверенность в том,

что случилось, наконец, чудо, что сейчас все образуется, Буркевиц спасет... Но „Буркевиц отказал”. И — точка.

Они сидели в Синем духане, в дощатой солдатской пристройке, в прохладном притемненном углу. От выметенного и сбрызнутого водой неровного земляного пола подымался приятный запах сырой глины. Только что перевалило за полдень, офицерский зал еще не открыли, да и здесь, внизу, было тихо и почти пусто: только они, да еще какой-то загулявший с утра казачий вахмистр торчал за дальним столом, за вином, тянул сквозь зубы:

Наган да шашка, водки фляжка,
Шинель надета в рукава,
На лоб надвинута фуражка,
Чтоб не боле-ела го-лова...

— Я напишу это! — сказал Леви и легонько стукнул кулаком по столу. — Никакой не Бог убивает кокаиниста, а Буркевиц. Это не кара и не расплата. Нет никакой кары, во время войны это особенно ясно видно! Но войны кончаются, и люди снова начинают придумывать всякую ерундистику, врать неусветно — от ночного страха, от дурного сна. В войну меньше боятся: смерть — не Бог, не кара, смерть — пуля, можно ее потрогать руками. Может, она еще и мимо пролетит, вот ведь здорово: в товарища попала, не в меня. Хорошо бы, конечно, если б в лошадь — так в товарища стукнула, а мы с ним вчера водку пили, о бабах тарабарили. Но все же, если уж на то пошло — лучше в него, чем в меня. Правда?

Борис украдкой взглянул на Вареньку и ничего не ответил.

— Молчите, — продолжал Леви, — ну, хорошо... Вот мы, допустим, с Борей, вздернув рукава, идем в атаку. Что б вы предпочли: чтоб пуля достала меня или его?

— Вас, Марк, — еле слышно сказала Варенька. — Простите...

— Вот видите! — ничуть не огорчился Леви. — Вы прощенья просите — за правду. А солгали бы — вам и в голову не пришло бы за это виниться. Потому что мир фальшив, и уже хотя бы по этой причине ложь куда естественней правды. Мы привыкли лгать, и когда мы разглагольствуем о святой

правде — мы тоже лжем! Это же так понятно: правда — неудобство, неуют. „Режет правду-матку” — в этом, слышите ли, предостережение несомненное: мол, псих какой-то, опасный тип, от него подальше надо держаться. А у лжи хоть ноги и короткие, зато не взбрыкнет, с седла не сбросит, а вот так — трюх-трюх — до конца и дотащит: „тише едешь — дальше будешь”... Мой кокаинист — человек, как все, как мы с вами, просто я о нем хочу написать правду без подмеса. О нем, о Буркевице.

— А как книга будет называться? — спросил Борис Веселовский.

— Вот не знаю еще, — сказал Леви. — Никак не придумаю.

— Если правду говорить, — сказала Варенька и поглядела на Бориса искательно, — вам трудно придется с такой книгой. Нет-нет, не потому — просто здесь, в Крыму, да с вашей фамилией...

— Ну да, — усмехнулся Леви. — Конечно... Я и не собираюсь подписываться „Леви”. На обложке я солгу. И это тоже вполне естественно, а? Как вы считаете?

— Петров какой-нибудь или Сидоров, — сказал Борис Веселовский. — Никто не догадается.

— Нет, — твердо сказал Леви и отхлебнул из стакана. — Это уже слишком. Ложь должна содержать в себе элемент индивидуальности, иначе она бездарна... Шестикрылов! — Он допил одним длинным глотком и, подняв руку с воображаемым молотком, крикнул: — Кто больше?

— Семикрылов! — не задумался Борис Веселовский.

— Правдин, — сказала Варенька и смутилась.

— Нет! — отмел Леви. — Это слепок, копия... Вот черт! Может, подойти вон к вахмистру и спросить, как его там зовут — и пусть так и будет!

— И он скажет: Натанзон, — улыбнулся Борис.

— А как ваша фамилия? — требовательно глядя на Вареньку, спросил Леви. — Вы сегодня уже дважды не солгали.

— Фамилия моя неинтересная, — огорченно сказала Варенька. — Агеева...

— Агеева, — повторил Марк Леви и по-дегустаторски пожевал губами. — Агеева... Дай вам Бог! — И, переведя взгляд на Бориса, спросил: — Когда, значит, ты едешь?

— Вечером, — сказал Борис Веселовский. — Скоро вернусь, если не задержат.

— Обещаю скучать, — сказал Леви, — если время будет. Видишь, уже двое: Варя Агеева и Марк Леви будут о тебе вспоминать.

— Он меня с собой не берет, — пожаловалась Варенька и покраснела.

— Сколько внутри войны всякой всячины разноцветной клубится! — откинувшись на стуле, сказал Марк Леви. — Давайте еще вина выпьем. Эй ты, татарская твоя морда!.. Казалось бы, война — значит, войой, и это все. Куда там! Воюют по краешку, там уже привыкли, а вот сюда, в Севастополь, привези с Поля какого-нибудь зарубленного — тут будут глазеть на него, как петербуржцы на красную орхидею посреди Невского проспекта. Воюют по абрису, а под шкурой войны страсти кипят вполне гражданские. Средства кое в чем меняются, зато цели остаются неизменными: золото, женщины, вино. Это — близко, рядом. А победа над врагом — далеко, поэтому она идет на четвертом месте, сразу за вином.

— Поскорей бы все это кончилось... — вздохнула Варенька.

— Это все только начинается, — радостно вскинулся Марк Леви. — Россия разваливается к черту, Россия — гидра, дракон о семи башках. Нашу Белую головушку отрубят — другая вырастет на этом месте, красная или зеленая, что за разница! „Иль башку с широких плеч у татарина отсечь” — здорово, а? Вот у этой татарской морды. Эй ты, Мустафа! Официант! Неси вина!

Татарин подошел не спеша и, брезгливо скривившись, грохнул перед ними на стол кувшин белого, чуть подслащенного вина.

— Морду воротит, — удовлетворенно сказал Марк Леви, — вот и ладно. А то что ж: всем плохо, а ему хорошо, и он и в ус не дует. А как же тогда справедливость, за которую мы все боремся? Ишак, курдюк! И креститься не желает!

— А ты... — замялся Борис Веселовский, — что, крестился?

— А что? — пружинно выпрямляясь на стуле, вздернул бровь Марк Леви.

— Нет, ничего, — сказал Борис Веселовский. — Только я, как этот Мустафа, тоже никогда бы не крестился.

— А почему? — выложив кулаки на стол, Марк наклонился вперед, вцепился взглядом в поскучевшие вдруг глаза Бориса Веселовского и не отпуская. — Скажи, это важно!

— Для меня креститься — это предать, подло предать! — закипая, сказал Борис, и Варенька тихонько охнула, побелела. — Отца предать, мать, дедов — всех. Понимаешь? Это позор, трусость! наших режут за то, что они евреи — а я бежать. Это все равно, что снег взять и покрасить в красный цвет... Да я и в Бога-то верю только чуть-чуть, а Иисус Христос этот... — Он сбоку взглянул на обомлевшую Вареньку и замолчал.

— Дальше, дальше! — улыбаясь во весь рот, требовал Марк Леви.

— И вообще, — тихо сказал Борис, — для меня в церковь пойти — как юбку женскую натянуть, губы накрасить. Противно. И страшно. Вот...

— Молодец! — крикнул Марк Леви, и пьяный казачий вахмистр оглянулся и поглядел одобрительно. — Только вот насчет Иисуса — это ты зря: обманули человека, обвели жулики ископаемые вокруг пальца, и на могилу байки всякие навалили вместо честного камня. А ведь прямой был, и какой храбрец! Я люблю его.

— Ты крестился? — упрямо повторил Борис Веселовский.

— Нет, — сказал Марк. — Конечно, нет. „Вор прощенный, конь леченный, жид крещеный” — знаешь? Креститься — ярлык наклеить на лоб: пожалуйста, ваше ярлычество! Ну, как? А про юбку женскую — это ты здорово: наша врожденная иудейская брезгливость. Как лягушку проглотить.

Варенька сидела с приоткрытым ртом, вымученно глядела. Розовая кровь робко возвращалась к ее щекам.

Собираться было недолго, но хлопотно. Борис, надевший уже линялый вислый пиджак, переобувшийся в сбитые сапоги и нацепивший какой-то гнусный, табачного цвета картуз, на котором особенно настаивал полковник Черновдворский, краем глаза поглядывал на не спеша переодевавшуюся Вареньку, подглядывал. Сейчас, ловя глазами

большое и плавное Варенькино тело, Борису не хотелось ехать ни в какую Умань, ему хотелось остаться в этой случайной убогой комнате, с этой женщиной, такой близкой, такой собственной. Какая жуткая, безобразная юбка, где только ее Чернодворский выкопал, на какой помойке! А эта кофта с дикими оборками, которая вот сейчас, сейчас скроет праздничную белизну спины и грудь, грудь со вздернутым розовым сосцом... Хорошо бы она сбросила хоть ненадолго все это шутовское тряпье — и в угол его, в угол, чтоб не видеть. Ненадолго, перед дорогой. В последний раз... Но Борис стеснялся попросить и стеснялся открыто глядеть.

— А Марк прав, — сказала Варенька, на ощупь застегивая ворот кофты. — Ох, как прав! Зачем люди все время врут друг другу?

— Я тебе не вру, — пробормотал Борис Веселовский.

— Ну, мы — это другое дело! — влажным голосом сказала Варенька, и у Бориса вдруг окаменели колени, как перед обрывом, и стало горько: зачем постеснялся, не попросил? — А ему я взяла и сказала, что ты меня с собой не берешь. Соврала.

— Ну, так надо, — неуверенно пожал плечами Борис. — И ведь война. Мы же туда не просто так едем, в эту Умань.

— Поскорей бы все это кончилось!.. — вздохнула Варенька, и непонятно было, о чем она — о войне или об Умани.

— Мешок еще надо собрать, — сказал Борис. — Документы держи!

Варенька протянула руку, взяла легко, как будто Борис протягивал ей не выправленные на имя Тёминой Надежды фальшивые документы, а леденец или полевой цветок. Самого себя в роли Бориса Козельского Борис Веселовский ощущал тревожно.

— Вот вернемся с Богом и снимем квартиру на Малой Андреевской, — подойдя и проводя с нажимом по щеке Бориса большой белой ладонью, сказала Варенька. — Я тебе рассказывала.

Она рассказывала ему о двухкомнатной квартире за госпиталем Святой Анны, он помнил. Комнаты с высокими потолками, с балконом на море. На жалованье, обещанное Чернодворским, можно будет купить широкую кровать, зеркальный трельяж для Вареньки и высокие деревянные

часы с боем, как у родителей в Веселó. Скорей бы вернуться! Найти этих людей в Белой Церкви и в Киеве, передать им, что велено, вернуться и снять квартиру на Малой Андреевской. Что тут такого? „Николай Михалыч просил передать, что срочно переезжает в Сороки”. Ответ: „Бандероль будет отправлена с первой почтой”. Или со второй. Или с третьей. Вот и все. Передать — и запомнить ответ. А кто такой Николай Михалыч и этот Фомин, которому передать, и второй, Еремеев — дело не наше. Мы погорельцы, пострадали от красных, или белых, или махновцев, или петлюровцев — в зависимости от того, кто будет сидеть в Киеве и в Белой Церкви. Лучше всего — от махновцев, тут проверить трудно. От Семена, значит, пострадали мы с Варенькой, то есть с Надеждой Теминой, двоюродной сестрой. Брат Семен, выходит дело, обливал керосином, чиркал спичкой и поджигал. Вот ведь жеребятина, как сказал бы Марк! Рува — тот бы, пожалуй, чиркнул, поджег. А из Семена какой там поджигатель!.. Да, прав Марк: совсем люди заврались. Может, правда, книжку свою напишет когда-нибудь, прославится и узнавать перестанет. Ну и не надо! Нам бы вернуться, квартиру снять и сидеть. Даже если будет поход на Москву — потом все равно вернуться сюда, в Севастополь. Тут хорошо, куда лучше, чем в Весело. А если в море скинут? Ну, да посмотрим еще.

А моряка кто застрелил?

— Готов мешок, — сказала Варенька. — Легкий. Мыла только остался вот обмылочек один, на стирку не хватит, нечего и думать.

— Ну и не надо, — сказал Борис Веселовский. — Подумаешь, стирка.

— В грязном тоже ходить противно, — не согласилась Варенька.

У ворот визгливо рявкнул клаксон автомобиля.

— Это за нами, — выглянув в окно, сказал Борис. — Поехали.

— С Богом! — сказала Варенька и пытливо оглядела комнату — не забыла ли чего.

В машине, нахохлившись на кожаном заднем сиденье, ждал полковник Черновдворский, в штатском.

— Быстрей, быстрей! — торопил полковник. — Едем!

Ехали недолго. Минут через десять в желтом свете сильных автомобильных фонарей обозначились склады товарного вокзала. Солдаты, покрикивая, перетаскивали деревянные зарядные ящики из складов в вагоны длинного воинского состава. Паровоз, обложенный броней, пыхтел и пускал пары откуда-то из-под брюха.

— Выходите! — приказал Чернодворский.

Они быстро, почти бегом подошли к почтовому вагону в голове состава. На высокой железной ступеньке мирно сидел круглолицый штабс-капитан и курил папиросу. При виде широко шагавшего Чернодворского он поспешно вскочил и подался в глубь тамбура.

— Подымайтесь, подымайтесь! — прошипел Чернодворский. — Сюда! Эта дверь!

Они ввалились в узкую каморку с двумя полками вдоль стен, с продолговатым зарешеченным оконцем под потолком.

— Ну, вот... — облегченно вздохнул полковник, задвигая дверь. — Вас высадят, не доезжая Умани, километров двадцать. Там сами доберетесь, пешком. Сориентируетесь и, не задерживаясь, дальше. Как говорится, Бог в помощь! — Он колко взглянул на Бориса Веселовского, потом на Вареньку и потер подбородок. — Вот деньги, этого хватит... А картузик впору пришелся, и камуфляж замечательный! А? Что скажете? — Полковник был явно доволен — и тем, что успели вовремя, и что никто их не видел, и картузиком тоже.

— Хороший картуз, — сдержанно согласился Борис Веселовский.

— До высадки никуда из вагона не выходить! — рокотнул полковник и, откинув гладко причесанную голову с белой тропинкой пробора, сощурился, подчеркнуто пристрасно оглядел своих секретных агентов: — Погорельцы! Чистая работа! А в картузике отчасти даже и калики!

— Беженцы, — кутаясь в драный платок, заметила Варенька. — Бежим, сами не знаем от кого...

— Вот-вот! — охотно поддержал полковник. — Рвань перекатная! Так и задумано!.. — Он сделал паузу, а потом продолжал голосом сильным, наградным: — Вас ждет, молодые люди, большое, можно сказать, светлое будущее, я позабочусь об этом. Но все зависит от вас! Ловкость, хит-

рость, смекалка — вот три ваши путеводные звезды. Запомните: ловкость, хитрость, смекалка! Все остальное несущественно...

Паровоз прогудел коротко и басовито. Не прощаясь, Чернодворский потянул дверь, шагнул за порог, и торпливые его шаги уверенно простучали к выходу из вагона.

— Хорошо, что он ушел, — сказала Варенька и, распутав горло мешка, вынула узелок с едой: хлеб, картошка в мундире, брусок сала.

Тяжелый состав двинулся мягко, почти неслышно — только лампочка шатнулась на длинном шнуре и с жужжанием снялись с него сонные мухи. Поезд шел с частыми остановками и, хотя спешить секретным агентам было особенно некуда и ждала их впереди маята и беспокойство, — Борис с Варенькой согласно возмущались недостаточно быстрым ходом поезда и томительными заминками, будь они на станционных запасных путях или в открытом ветренном поле: мученье, а не езда! Вечер давно сменился ночью, после соленого сала хотелось пить.

— Кипяточку бы! — попросила Варенька.

Борис Веселовский решительно поднялся с лавки и пошел искать круглолицего штабс-капитана. Искать долго не пришлось: на звук шагов штабс-капитан отворил дверь своего купе и взглянул на Бориса вопросительно.

— Нам бы кипяточку... — сказал Борис Веселовский.

— А я думал, вы спать легли, — улыбнулся штабс-капитан, — вам ведь еще далеко... Сейчас чайку соорудим, и рябиновка есть, не совсем, правда, рябиновка, а английское какое-то пойло. — И, ныряя обратно в купе, он дружелюбно подмигнул Борису Веселовскому, которого он, как видно, и не думал принимать ни за погорельца, ни за калику переходящего, и табачный картузик ничуть не менял дела.

Чай пили по-хозяйски — в огороженном решетками помещении посреди вагона, заваленном мешками с почтой и обшитыми дерюгой ящиками. Рябиновка оказалась шотландским виски. На длинном и узком столе, привинченном к полу, появились французские рыбные консервы и коричневый кус отварной отечественной говядины с налипшими полосочками борщевой капусты. Круглолицый штабс-капи-

тан оказался человеком хлебосольным и общительным; вынужденного одиночества доверенного ему почтового вагона он не выносил. Не зная достоверно, с кем сидит за столом, но отчетливо помня, кто привел их в вагон, он держался с Борисом и Варенькой запанибрата, не задавая им, однако же, никаких вопросов и понимающе не удивляясь их дикой одежде.

— Тут секретов, знаете ли, полон рот, — смачно жуя мясо, рассказывал штабс-капитан. — Вот этот мешок, к примеру, вон тот ящик... Но — чу! — он театрально поднял указательный палец и огляделся, словно бы ища кого-то по темным углам. — Враг не дремлет! — И, действительно, ударила где-то впереди пушка, потом другая, и далеко-далеко застрочил пулемет. — Вот видите... — удовлетворенно заметил штабс-капитан, наклонив голову как бы в ожидании заслуженной похвалы за проявленную проницательность, и подлил виски в стаканы.

— Кто это стреляет? — спросила Варенька.

— Кто ж их знает! — удивился вопросу штабс-капитан. — Махновцы, скорей всего. Но это впереди, до нас пока не долетит. Выпьем, господа, за окончательную победу белого оружия! За Москву!

— Вы шутите... — тихонько сказала Варенька.

— Чем черт не шутит! — улыбнулся штабс-капитан. — Над Россией пыль стоит столбом, ничего не видать. Такая пыль, что можно и до Москвы добежать.

Орудийный грохот нарастал, ширился за черным горизонтом.

— Пошла, пошла армия! — сказал штабс-капитан. — Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. А может, и не будет ничего: постреляют, как вот сейчас, и успокоятся.

— А потом? — спросил Борис Веселовский. — Ведь красные...

— Красные тоже не в креслах расслаиваются, — сказал штабс-капитан. — Наши, говорят, к Курску вышли. А там, правда, до Москвы рукой подать. Так ведь и локоть-то близок, а не укусишь.

— И все-таки мы победим! — подымая стакан, сказал Борис Веселовский. — Потому что у нас просто нет другого выхода. Или — или.

— Вот я и говорю, — поспешно согласился штабс-капитан. — Только у красных, будь они прокляты, тоже другого выхода нет.

Бутылку закончили перед рассветом. Состав стоял в степи, за окнами вагона пробовали голоса ранние птицы.

— Встретим новый день с бокалом в руке! — предложил неугомонный штабс-капитан. — У меня еще есть. Правда, не рябиновка.

— Не пей больше! — попросила Варенька. — У тебя глаза какие-то слоистые.

— Не буду, — сказал Борис. — Пошли спать.

Чем ближе к Умани — тем больше поездов на узловых станциях, тем длинней составы, груженные живой и железной силой: солдатами и лошадьми, пушками и снарядами. И обмундированием. И провиантом. И медикаментами. И фуражом. И шанцевым инструментом — лопатами для рытья окопов и для рытья могил. И прогибаются рельсы, и вост земля под непомерной тяжестью километровых эшелонов.

Пошла Белая армия, набранная из царских офицеров и курных крестьян, из городских торговцев и сельских ремесленников, из ростовских черносотенцев и донских казаков, из кавказских кинжальных пластунов, из неучей и интеллигентов, из идеалистов и циников, из головорезов, чело-веколюбцев и грабителей с большой дороги, — пошла армия через Украину на Москву, поползла тучею: броневой лоб, нежное брюхо. Откатывалась армия Красная, очищала Украину. Махно держал фронт против белых, прикрывал отход председателя реввоенсовета Троцкого, собою латал дырки в красной обороне. Махно некуда уходить с Украины, из Гуляйполя — не в Москву же, за кремлевские стены! Махно мечется по Югу со своими конниками, подымает народ против белых — за безвластную жизнь, за крестьянские Советы, за вольные коммуны. Махно — батько, вождь — зовет народ в Гуляйполе на четвертый экстренный съезд крестьянских, рабочих и повстанческих делегатов. Троцкий: „Означенный съезд целиком направлен против советской власти на Украине и против организации Южного фронта, в состав которого входит бригада Махно... Распространителей воззваний Махно и гуляйпольского исполкома арестовывать... Все

рабоче-крестьянское население должно быть предупреждено устно и печатно о том, что участие в съезде будет рассматриваться как государственная измена... Все делегаты на означенный съезд должны подвергаться незамедлительному аресту и представляться в военно-революционный трибунал". Лучше уж отдать Украину классово чуждому Деникину, чем оставить ее под контролем безвластника Махно, анархо-коммуниста с его самоуправляемыми коммунами. Безвластник — это враг советской власти! Так удавить социально близкого Махно чужими руками, спустить на него Деникина! Избавиться навсегда от этого опасного бунтаря, отбирающего у большевиков крестьянскую массу, расшатывающего своим примером основы московской политики на Украине!

И вот уже снимают большевики свои полки с северо-восточного направления, и в этот лаз, как по маслу, вливаются казачьи орды генерала Шкуро — в самое сердце повстанческого района, нацеливая острие удара на Гуляй-Поле. Махно со своей армией, державший оборону против белых по линии Мариуполь-Кутейниково-Таганрог, оказался обойденным деникинцами и нес потери. Красные, вопреки действовавшему еще де-факто соглашению, прекратили поставку боеприпасов, и обескровленные махновцы иступленно набрасывались на деникинские отряды с одной-единственной целью: отобрать у них патроны. Приученные к правилам и порядкам академической войны, белые не выдерживали сабельного удара конной махновской лавы — и гибли. А казаки Шкуро на своих горбоносых конях свирепствовали в районе, грабили и вешали, ловили и насиловали евреек в окрестностях Гуляйполя и в самой махновской столице.

Вал наступающей Белой армии перекатился через Умань и ушел вперед, на Север. Через тыловую Умань шли на фронт подкрепления, грузы. А за окраинами города, в вольном Поле, метался меж петлюровцами и деникинцами Махно с остатками своих сил. Шесть тысяч раненых связывали ноги его коней, тормозили колеса его тачанок. По полемому соглашению с петлюровцами, которому не доверяла ни одна из сторон, Махно встал на отдых в районе села Текуче, под Уманью. Не желая конфронтации с Махно, петлюровцы

шли с ним на военный нейтралитет и соглашались разместить его раненых в своих госпиталях. Отсыпаясь в Текуче, махновцы видели лишь один сон: как бы прорубиться назад, к Днепру...

Борис Веселовский всего этого не знал, да и полковник Черnodворский знал далеко не все. Да и Троицкий с Вацетисом дорого бы заплатили, чтобы узнать побольше. А Борис Веселовский, бредя с Варенькой по уманьскому обшарпанному пригороду, не без страха поглядывал из-под своего картузика на диковинно разодетых сечевиков Петлюры и повторял про себя мимоходом оброненную Черnodворским фразу о том, что петлюровцев следует опасаться лишь в последнюю очередь. Сечевики же глядели на бредущих оборванцев без всякого интереса.

Так добрались до вокзала — заплеванного, загаженного, с выбитыми стеклами, с запертыми намертво буфетами и кассами. В ответ на то, как добраться до Киева, озабоченный дядька в железнодорожной фуражке угрюмо поглядел на Бориса Веселовского, потыкал себя пальцем в лоб и сплюнул в сторону. Обстоятельно кушавший печеного леща беженец, сидевший на полу подле своего мешка, оказался более приветливым: придвинув поближе к себе рыбу на бумажке, он со знанием дела объяснил Борису, что завтра к вечеру ожидается поезд на Днепр, а там по воде можно легко и до Киева добежать — не собьешься с дороги.

Выйдя из вокзала, Борис Веселовский поглядел по сторонам, гадая, в какой стороне света лежит Киев, но так и не определил. Куда-то уходили составы, набитые солдатами и виснувшим на подножках гражданским людом. Солдаты пели песни задумчивыми нежными голосами и спихивали гражданских с подножек на промасленную насыпь. Варенька сморкалась в застиранный кружевной платочек и вздыхала.

— Киев — где? — диким голосом спросил Борис Веселовский у проходившей мимо женщины в гарусной шали с бахромой, в мужских ботинках с серыми фетровыми гамашами.

Не удивившись вопросу, женщина остановилась и распустила мешок, сшитый из ватного одеяла. Из мешка выглянул на волю большой белый попугай с розовым гробешком, с кривым черным носом.

— Он знает, — сказала женщина. — Он все знает.

— Ой, попугай! — сказала Варенька, налегая грудью на спину Бориса и умильно глядя на птицу из-за его плеча.

— Недорого, — сказала женщина. — Можно хлебом. У него там конвертики, вы же понимаете.

— А сколько ему лет? — спросила Варенька, пока Борис рылся в кармане.

— Сто, — сказала женщина. — Ему всегда сто лет. Котик, молчи!

Попугай, раззявивший было клюв и собравшийся что-то гаркнуть, недовольно скосил лакированный круглый глаз и нырнул обратно в теплый мешок.

— Вот, — сказал Борис. — Хватит?

Женщина молча приняла деньги и несколько раз легонько встряхнула мешок, как шапку с лотерейными билетами. Попугай зацокал, завозился в мешке, раскачивая его.

— Он ищет, — пояснила женщина. — Где Киев, вы спрашивали?

— Ну да, — сказала Варенька.

— Сейчас, — сказала женщина. — Придется немного подождать. В Киеве красивая опера, там застрелили кого-то, еще до войны.

— А кто там сейчас, в Киеве? — спросил Борис Веселовский. — Белые?

— Сразу надо было спрашивать, — без раздражения сказала женщина и кивнула на свой мешок. — Он так не может... Ну, Котик!

Попугай послушно высунул голову из мешка, в кривом его клюве был зажат розовый конвертик.

— Дай я! — попросила Варенька и протянула руку.

— Довоенные еще конвертики, — назидательно сказала женщина. — Ну, до свидания. — И неожиданно быстро пошла прочь.

— Читать? — ломким голосом спросила Варенька.

— Хочешь, я прочту, — сказал Борис.

— Нет-нет, я сама! — сказала Варенька. — Вот... „Корни преследующих тебя несчастий ищи в собственном сердце”.

— А где же Киев? — спросил Борис Веселовский. — Больше там ничего не написано?

— Ну, это же он в общем смысле, — сказала Варенька, бережно пряча конвертик.

— Ладно, черт с ним, — сказал Борис. — Будем пробираться к Днепру.

Обогнув здание вокзала, они вышли на безлюдный перрон.

— Гляди, поезд пришел! — сказала Варенька. — Ездят же люди...

На дальней платформе без суеты, споро выгружались из вагонов солдаты отборных полков генерала Слащёва.

13. СМЕХ В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ

Задов вошел стремительно, влетел:

— Петлюра впустил в город два полка слащёвцев! Это клещи, батько!

Махно сидел в холщевой нательной рубаше, парил ноги в тазике. Распахнутый ворот рубашки открывал синеватый шрам от сабельного удара, располосовавший грудь от плеча через ключицу к подвздошью. Нога была искорежена недавним осколочным ранением. Махно как раз поливал багровый бугор горячей водой из чайника.

— Клещи, клещи, — сказал Махно, поливая. — Это ведь как поглядеть, Лева. Клещи, молоток. Слова-то какие красивые, рабочие слова, трудовые! Любо слушать.

Он поднялся с табурета, тщательно вытер ноги полотенцем, намотал портянки и, раскатав штанины, натянул сапоги.

— Ну, впустил слащевцев, ну да! — сказал Махно, застегивая френч. — А мы зато отоспались тут, отъелись. А что впустил — так на то он и Петлюра. Ты мне еще на той неделе говорил, что впустит.

— Он, пока мы тут сидели, — сказал Задов, — к Деникину в Ставку послал своих людей. Мы одного перехватили.

— Ну, молодцы, — сказал Махно. — Какие полки?

— Один регулярный, один офицерский — Первый Симферопольский, — сказал Задов.

— Вот это плохо, — Махно набросил португеею, затянул. — Симферопольцы эти дело знают, трудно с ними... Откуда полки?

— С фронта сняли, — сказал Задов. — Еще один полк снимают — Второй Лабинский, тоже офицеры, и мамонтовцев.

— Оголяют фронт, Лева, — Махно наклонил голову, провел ладонями по волосам. — Если они так полки пойдут снимать, то, пожалуй, до Москвы не дойдут... Но Петлюрата, Петлюра! То с немцами, то с красными. Теперь с Деникиным. Как бы не перемудрил!

— Шакал он, — сказал Задов и задумчиво вытянул губы. — Плохо кончит.

— Ну вот, — сказал Махно, оттаскивая тазик в угол комнаты. — Скажи Веселовскому Семену, Лева, пусть прокламацию пишет. „Кто такой Петлюра?“ — как, ладно? И Каретника ко мне, со штабом. Через пятнадцать минут.

Задов повернулся на пятках, кинулся, исчез. Кряжистый вестовой, дежуривший у двери Махно, с опаской поглядел вслед улыбающемуся во весь рот, летящему черту.

Махно с его мужицкой армией, с его подрывными идеями о бесконтрольной справедливости торчал костью в горле у всех троих государственников: у Ленина, у Деникина и у Петлюры. Упрямый и дерзкий, он бесшабашно воевал со всем светом, не зная другого наказания для оступившихся, кроме смерти. Своих прославленных командиров, дрогнувших в бою или запустивших по запарке лапу в полковую казну, он расстреливал с той же неукротимостью, что и несдающихся врагов, попавших в его руки. Да и нелегко было тогда разобраться, кто чистосердечно сдается, а кто лукавит... Он ненавидел тюрьмы — этот инструмент абсолютного подавления свободы. Человек может быть или свободен, или мертв — и лишению свободы Нестор Махно решительно предпочитал лишение жизни. Махновская тюрьма была столь же непредставима и немыслима, как сам Махно в короне и со скипетром в руке.

Ленин стоял на его пути, и Деникин, и Петлюра. Не умея и не желая их обойти, он бросался на них с безоглядной отвагой. Но Ленин все же был ему ближе других...

Измена Петлюры, жмеринскому соглашению вопреки впустившему белых в Умань, в тыл махновских частей, не обескуражила и не смутила Махно. Зажатый с севера и запада петлюровцами, с юга и востока деникинцами, он испытывал необузданный кипучий подъем — как всегда перед боем и перед возможной смертью в бою. Он не изводил себя мыслями о том, кто займет его место, если он погибнет, не думал о будущем своего движения — только о бое и о победе. Напасть первому, наброситься, вгрызться и не отпускать!

Рассеянные по селам махновские части получили приказ медленно отходить на запад, сбивая нерадивое сопротивление петлюровских сечевиков. Под селом Крутенькое махновцы совершили неожиданный маневр: развернувшись на восток и стремительно набирая скорость, они сходу нанесли короткий и мощный удар в лоб деникинской группы. Белые отступили, второй их эшелон, закрепляясь на местности, готовился встретить противника по всем правилам военного искусства. Но Махно не стал преследовать отступающих, представлявших собой легкую и желанную добычу. Ударив, он вновь круто развернулся и продолжал движение в прежнем направлении — на запад, к Днепру, домой. Деникинцы успокоились: Махно просто огрызается. Меж тем махновцы, действуя в соответствии с полученными приказами, к двум часам ночи сгруппировались в районе села Перегоновка, под которым были сосредоточены главные силы деникинцев. В четвертом часу утра, расчехлив свои черные знамена, махновские части, насчитывавшие шесть тысяч сабель и около полутора тысяч наскоро оборудованных пулеметных тачанок, повернули коней на восток и пошли в бой.

Варенька спала на расстеленных газетах, уложив голову на колени Бориса Веселовского. Борис клевал носом, сидя на полу вокзального муравейника, прислонившись спиной к стене, выкрашенной потемневшей от грязи масляной краской. На стене то ли ножом, то ли штыком процарапаны были революционные лозунги и сообщения: „Сева! Я тут!“, „Дроздовцы дают пороха!“, „Бей жидов, спасай Россию!“, „Потерялась девочка трех лет“, „Сеня+Люся = любовь“ и чертеж, изображающий непропорционально сложенного Се-

ню, вполне готового к исполнению своего любовного намерения. Одно заявление носило пессимистический характер: „Всех жидов не перебьешь и Россию не спасешь”.

Первая, далекая еще пулеметная стрельба не произвела яркого впечатления на ночных вокзальных людей — отдыхающий народ почмокал во сне губами и перевернулся на другой бок, — как будто какой баловник запустил пригоршню сухого гороха в стену, не более того. Минут через пятнадцать, однако ж, стрельба неприятно выросла и приблизилась. Отдыхающие недовольно подымали буйные головы с заплеванного каменного пола и вглядывались, как бы желая обнаружить здесь, в зале, признак внезапного беспокойства. А в зал с улицы ввалились тем временем петлюровские синезупанники, десятка три или полсотни, никто не считал, и побежали к выходу на перрон, бухая сапогами по спящим и просыпающимся.

— Куды, куды? Не видишь, что ли?! — прокатилось над полом, но петлюровцы ответа не давали и, остервенело выдергивая ноги из людской каши, как из болотной трясины, молча продирались к рельсам. Потом хлопнул пистолетный выстрел уже совсем рядом, на перроне, и вразнобой завывли паровозы, как бабы над покойником.

Варенька подняла голову с Бориных колен. Потревоженный народ разбежался удивительно быстро, волоча мешки, пригнувшись, как будто по залу уже летели во всех направлениях пули.

— Идти надо, — хмуро сказал Борис Веселовский, подымаясь вместе с Варенькой. Людской ток вынес их на привокзальную площадь, по которой народ бежал уже во весь рост, толкаясь и матерясь, а черные улочки и пыльные сады принимали беглецов. Площадь пустела на глазах. Борис с Варенькой обнаружили себя в кустах палисадника, рядом с мужчиной городского вида, лежавшим на своем чемодане и с опаской выглядывающим на пустынную покамест дорогу.

— Кто идет-то? — шепотом спросил Борис Веселовский.

Мужчина, не оборачиваясь, молча пожал плечами. Лежание на чемодане, в кустах, как видно, было для него расхожим делом.

Надсадная стрельба слышалась теперь и со стороны вокзала, и снизу, от реки. По дороге проскакала плотная стайка всадников, за ними прогремела длинная телега с пулеметом, и городской мужчина, взглядевшись, уверенно определил:

— Махновцы... Теперь сидеть тут надо до утра, а то пришьют в темноте. — И, озабоченно подняв голову к небу, добавил: — Часа полтора еще сидеть.

А небо понемногу зеленело, розовело, наливалось свежим и праздничным светом. Стрельба поутихла, по дороге в обе стороны пути часто проезжали, поглядывая по сторонам, на затаившиеся дома, группки всадников. Борис Веселовский, тревожно слушая бег сердца в груди, всматривался в лица проезжающих: а вдруг Семен? Нет, не может быть — Семен верхом на коне, среди этих степных разбойников, увешанных гранатами, в нелепой одежде! А хотелось, так хотелось Борису увидеть здесь брата...

Рассвело. Городской мужчина дремал в неудобной позе, свесив голову со своего чемодана.

— До свидания, — сказал Борис Веселовский. — Мы пойдем...

— Ну, идите, — не стал отговаривать мужчина. — А я еще подожду.

— До Киева как добраться отсюда, не знаете? — спросил Борис.

— Вы сначала из города выберитесь, — сказал мужчина. — Это самое главное. Идите на вокзал, там сейчас никого нет. Может, повезет.

— В какую сторону ехать-то? — спросил Борис.

— А это все равно, — сказал мужчина. — Отъезжайте куда-нибудь, а там уж пересядете.

Пустынными дворами вышли они к вокзалу. На дощатом перроне, перегораживая его, лежала пегая павшая лошадь. На костлявой голове лошади сидела ворона. К составу, собранному из теплушек и открытых платформ, пристраивался паровозик с длинной трубой.

— Давай сюда! — сказал Борис Веселовский. — Тут открыто!

В теплушке пахло сеном и конским навозом.

— На первой станции слезем, — сказал Борис. — А то увезет черт знает куда.

— Хоть бы подальше, — сказала Варенька, присматривая местечко почище — сесть.

К восьми часам утра белые, подтянув резервы, прижали махновцев к окраинам Перегоновки. Люди махновского штаба разобрали винтовки и пошли в цепь. Обложив село, белые наступали, поддерживаемые полевой артиллерией и пушками бронепоезда. Сам Махно ушел еще в середине ночи со своим полком, и никто не знал, где он. Последним был поставлен под ружье отдел пропаганды и женщины. Передовые разезды офицерского Симферопольского полка прорвались уже на околицу Перегоновки. Махновцы снимали пулеметы с тачанок, готовясь принять уличный бой. В поле за селом до самой реки Синюхи царила неразбериха, то здесь, то там вспыхивали рукопашные схватки, мелькали сабельные клинки, люди надпоротыми мешками валились с седел в сырую траву. По всему участку белые наседали, оттесняя махновцев с поля и не давая им уйти за реку, на простор. Город Умань генерал Слащев оставил махновцам, намереваясь выбить их оттуда после перегоновского разгрома.

Семен Веселовский шагал в цепи вместе с другими пропагандистами. Людей было негусто, цепь вышла редкая. Зажженные снарядами, лениво горели два дома, огонь перекидывался на третий. Сизый дым валил в небо, как из трубы, в нем красиво вспыхивали синие и красные искры. Семен шел, куда ему было указано, подымал винтовку к плечу, стрелял, шагал дальше. Под ноги он не глядел — это не имело никакого смысла — и поэтому часто спотыкался и падал, и другие тоже падали, а потом подымались с земли и брели дальше, беспорядочно стреляя перед собой: там, где-то впереди, в дыму и в грохоте выстрелов, были белые. И это прерывистое продвижение вперед составляло сейчас смысл существования Семена Веселовского.

Он не смотрел под ноги, потому что ему жалко было тратить предсмертное время на разглядывание колдобин дороги. Ему хотелось напоследок охватить и обнять мир — а руки его были заняты винтовкой, и он лишь старался умес-

тить в глазах побольше деревьев, поля и неба. Он не сомневался в том, что сейчас умрет, и не осталось в нем любопытства жизни. Цепь залегла по чьему-то приказу, а Семен Веселовский все шагал вперед, и спотыкался, и стрелял. Дома Перегоновки остались за его спиной. Поле открылось перед ним без помех. По полю скакали в разных направлениях казаки, гикая, посверкивая шашками, и офицеры-симферопольцы, не встречая больше сопротивления, на рысях подходили к селу. Семен Веселовский сошел с дороги, сел на камень и закурил, ломая спички негнушимися, чужими пальцами. Спеша затянуться дымом, он закашлялся, а потом поглядел неверными глазами в поле и увидел, как слева, от балки, скачет, стелясь над зеленой землей, пригибаясь к лукам седел, к жестким гривам, конная лава.

Махно вел свой полк наперерез симферопольцам. Донеслись торопливые крики команд, белые стали разворачивать правый фланг, тревога людей передалась животным. Для контратаки не хватало уже времени, махновцы накатывались неостановимо, Махно скакал в голове лавы. Пятьдесят метров, тридцать, десять — и вот уже сшиблись, смешались. Не слышно было ни криков боли, ни рева ярости. Молча рубились.

Мимо Семена Веселовского бежали по дороге к полю горстки махновцев, иные верхом, на тачанках, кричали бешено, разжигая себя:

— Батько рубится! Батько!

Сходу врубившись в симферопольцев, махновцы быстро углубляли разрез, расчлняя белый полк на две части и охватывая, опутывая разваливающуюся людскую массу противника. Теперь можно было расслышать крики, бессловесный ор тысяч глоток. В обход Перегоновки выкатились на поле махновские тачанки, и белый пехотный резерв бегом подходил. Поле вдруг наполнилось, налилось людьми, неведомо откуда взявшимися: только что казалось, что махновцы перебиты или попрятались, а белые отошли. И вот тысячи запрудили поле, и новые приливали.

Симферопольский полк был сбит, перемешан — и отступал. Растягиваясь в цепи, отступающие пытались задержать победителей, дать своим отойти и перестроиться для обороны или контратаки. Но не было уже для этого ни воли, ни

времени. Офицеры побежали, увлекая за собой подоспевшую пехоту. Переправиться через Синюху и наскоро закрепиться на том берегу — это все, что оставалось деникинцам.

Махно видел, знал маневр белых. Выведя из боя свой полк, он бросился к реке, отсекая беспорядочно бегущих от воды. Тачанки и севший на коней обоз гнали отступающих прямо на шашки Махно. Первый офицерский Симферопольский полк был вырублен полностью. У самой реки, на песчаном берегу, махновские всадники расступились, рассыпались, пропуская бегущих — и никем не управляемая толпа облегченно ринулась в воду. Махновцы, понукая коней, ворвались в реку — дорезывать без больших трудов плывущих и тонущих.

Расправа вдоль реки, в поле и вокруг Умани продолжалась до солнечного заката, до сумерек, кое-где и до ночи. Сотни телег потянулись из сел — мужики знали, кому досталась победа, и спешили к победителю. Всю ночь подходили подкрепления, и к утру поредевшие были силы Махно снова насчитывали до двадцати тысяч бойцов и до двух тысяч тачанок.

Теперь, с победой, хорошо было возвращаться на Днепр, громя по дороге деникинские тыловые части, взрывая склады, перерезая коммуникации — полосуюя и калеча нежное брюхо армии, ушедшей далеко на север, к Москве.

Со своей отборной охранной сотней Махно шел впереди армии, двигавшейся в трех направлениях и сметавшей, как гигантский веник, сопротивление деникинских гарнизонов. Каждый день приносил новые победы: была взята Долинская, Кривой Рог, Никополь. Развивая непостижимую скорость, махновская кавалерия и пехота, посаженная на тачанки, овладела Мелитополем, Бердянском и Мариуполем, откуда Махно, дразня Деникина, угрожал его Ставке, расположенной в ста верстах, в Таганроге. Бердянск и Мариуполь как бы подпрыгнули в воздух — там махновские саперы взорвали склады артиллерийских снарядов. Была окружена и отрезана Волноваха с ее основной базой снабжения наступающей на Москву деникинской армии. Железнодорожная сеть всего района перешла в руки повстанцев, и боеприпасы, провиант и фураж перестали поступать на фронт. Гражданская белая администрация и охранявшие ее

воинские части были уничтожены. Деникин, наконец, вынужден был признать смертельную опасность, нависшую над его тылом: Махно бушевал на юге Украины, как волк в овчарне. Белые сняли из-под Таганрога резерв Главного командования, бросили его против Махно — и были разбиты. Повстанческая волна покатила в глубь донецкого бассейна и на север. Командующий Добровольческой армией генерал Май-Маевский, смелый солдат и опытный стратег, верно оценил безвыходность положения, запыл и был смещен с поста. Через месяц после Перегоновки Махно на плечах бегущих белых частей ворвался в столицу края Екатеринослав.

Отдел пропаганды, по заведенному порядку, вошел в город с авангардом войск. Сидя в тачанке, Семен Веселовский писал обращение к гражданам: „Трудящиеся русские, украинцы и евреи! Мирные жители! Батько Махно освобождает вас от всех долгов и повинностей, наложенных на вас белыми, красными и другими псами-властниками. Вы свободны. Да здравствуют трудовые Советы и вольные коммуны! Смерть буржуям-угнетателям!“ Мирные жители, наложив замки на двери и брусья на ворота своих домов, не спешили, однако, радоваться освобождению от долгов: свежи еще были в памяти события прошлого года, когда три сотни махновских отчаянных храбрецов, укрывшись в возах с сеном, проникли в город, захватили его и, объявив наступление всеобщей свободы, расправились с председателем ЦИКУКА кривым заводским конторщиком Мироном Трубным. В отместку за этого Мирона красные, отвоевав город, учинили революционный террор, стоивший обывателям многих сотен жертв. Так что на этот раз наученные горьким опытом екатеринославцы решили повременить и поглядеть через щелку ставень на то, как будут развиваться события.

Махно решил события поторопить и дать притаившимся жителям яркий пример основательности своих намерений. Он вызвал к себе Семена Веселовского и поручил ему ответственное дело.

Выйдя от Махно, Семен взял двадцать бойцов и отправился обследовать городские торговые склады, близ которых буйные махновцы чертили все более суживающиеся круги. Семен Веселовский искал в складах не водку и не мануфак-

туру. Он искал там керосин, грузил бочки на телеги и вез горючее к зданию городской управы. К вечеру керосина было заготовлено довольно.

А наутро над городом потянуло дымком. Взволнованные жители приоткрывали ставни, высовывали носы наружу. Горели, щедро политые реквизированным керосином, полицейские участки, поыхала тюрьма. Заключенные разбежались, некоторые, отбежав на значительное расстояние, произносили речи. Для украшения праздника свободы, в соответствии с планом Семена Веселовского, махновские части, с утра держащиеся еще на ногах, с громкими песнями и молодецким свистом гарцевали по главным улицам Екатеринослава. В парадном строю ехали тачанки. Над городом, на малой высоте, летал, треща, захваченный махновцами вместе с летчиком аэроплан. Выполняя вираж, аэроплан вдруг припал на крыло, перевернулся и свалился на площадь, отрубив впустую вертящимся винтом голову зрителю из выползших-таки на улицы горожан. Происшествие это, однако, не повредило легкой атмосферы праздника.

Последним запылал податный архив городской управы, доверху забитый бумажным хламом. Пламя било из окон, стекла лопались со звоном. Серые хлопья налоговых ведомостей порхали в воздухе и ласково опускались на головы потрясенного народа.

Семен Веселовский наблюдал народное гулянье из глубины толпы. В кармане его пиджака лежала свежееотпечатанная новая прокламация: „Братья-трудящиеся! Поглядите вокруг: пылают столпы угнетения, очистительное пламя свободы бушует над городом. Занимается новая заря. В лучах этой зари, под знаменами анархии, рождается новая жизнь — без кровавой власти государственников, без принудительного труда, без вековых долгов голодного бедняка сытому богачу. Бейте белых, пока не покраснеют! Бейте красных, пока не почернеют! Да здравствует революция восставшего народа! Да здравствует батько Махно!”

— Ну, как, Сема, нравится? — услышал Семен Веселовский за плечом голос Задова. — Как горит?

— Это работает лучше всякой агитации, — счастливо улыбаясь, сказал Семен Веселовский. — Погляди: народ с

нами! Я не сплю уже сам не знаю сколько. А ты? У тебя вид усталый.

— Работы много, — уклончиво ответил Задов. — Надо поработать, Сема, чтобы хорошо горело.

— Ну, конечно... — сказал Семен Веселовский. — И все-таки самое главное — это наглядная пропаганда!

— Ты так думаешь? — спросил Лев Задов, выискивая кого-то в толпе. — Минуточку... — И, нырком, исчез в людской восторженной гуще, как под землю провалился.

От огня полыхало печным жаром, кое-где неохотно занялись уже и деревья вокруг управы. Плавные руки пламени небрежно тянулись к соседнему бревенчатому теремку, торчавшему особняком. Стоявшие поближе к теремку люди, озабоченно вертя головами, побежали за ведрами.

Лев Задов вновь возник, как черт из театрального люка.

— Наглядная пропаганда, ты говоришь? — сказал Задов, бестревожно глядя на суетящихся вокруг теремка тушителей. — Сгорит домик. Жалко?

— Лес рубят — щепки летят, — промямлил Семен Веселовский. Ему было неловко, как будто это он, ни с того ни с сего, от веселого настроения, облил угол дома керосином и чиркнул спичкой.

— Сгорит, сгорит, — убежденно повторил Задов. — А страховки все ты взял да спалил — вон они летают, — он небрежно кивнул на хлопья жженой бумаги, клубившиеся в воздухе — пепельное на голубом. — Ну, ничего. Живы будут — новый дом построят, куда деваться.

Семен Веселовский не отвечал, глядел, как из двери теремка обитатели и доброхоты тащат, торопясь, мебель и наскоро связанные узлы.

— А щепка отлетит — глаз кому-нибудь выбьет, — продолжал Задов. — Щепки-то эти, Сема, — железные.

— Ну, что это ты, Лева? — с тоской в голосе спросил Семен Веселовский. — Что с тобой?

— Собирай свою канцелярию, — сказал Лев Задов, — завтра мы уходим отсюда. Посмеялись, и хватит.

— Уходим? — Семен глядел недоуменно. — А как же вот они все... — Он повел головой на толпу, нетерпеливо ожи-

давшую, когда же наконец займется и вспыхнет красивый теремок.

— Как, как... — по-собачьи проворчал Лев Задов. — Не знаешь, что ли, как... Обойдутся как-нибудь, ты не нервничай. Город без власти не стоит, это тебе не коммуна.

— Плохо, что не стоит, — упрямо сказал Семен Веселовский. — А если его не подпереть — зачем тогда мы воюем? Зачем... — Он обернулся за ответом, но не увидел Льва Задова — место, которое тот занимал только что, было пусто.

Борис Веселовский проснулся от судорожного подергивания вагона: состав тормозил, и резко. В чуть приоткрытую дверь теплушки бил холодный свет раннего дня.

— А я тебя будить не хотела, — сказала Варенька, высвобождая руку из-под головы Бориса. — Ты спал так хорошо... Мы ночью останавливались где-то, паровоз перецепляли.

— Где останавливались? — шурясь на свет, спросил Борис.

— Откуда ж я знаю! — сказала Варенька. — На станции, наверно. Стояли недолго, потом в другую сторону куда-то поехали.

— В другую сторону? — Борис поднялся с пола, стряс картузом приставший сор с пиджака и штанов. В планке солнечного света, наискось разделявшей вагон надвое, замелькали, за клубились пылинки. — Ну ладно, это все равно.

Он подошел к двери и выглянул крадучись. Невдалеке, за путями, розовело скучное станционное здание, на потемневшем щите можно было разобрать название станции.

— Кисловка какая-то, — вглядевшись, сказал Борис Веселовский. — Давай сходить.

14. ЛБЫ В НЕБЕСАХ (2)

Ленин шел, щурясь, вытянув руки, по кремлевскому коридору. Надо сказать, чтобы вкрутили лампочки, голову можно разбить в этой темноте. Вчера как будто было светлее. Невероятно, чтобы все лампочки так вдруг взяли и перегорели. Воруя.

В кабинете было светло, и тишина там была уютная — не как в коридоре. Ленину хотелось поскорей в кабинет. Он еще дальше вытянул руки, прибавил шагу.

— Чайку, пожалуйста, — сказал Ленин, проходя через приемную. — Не очень крепкого.

Легкий осенний свет вливался в комнату сквозь кремовые занавеси плотного шелка. Ленин подошел к окну, оперся ладонями о подоконник, животом об округлые ребра батареи центрального отопления. От батареи шло приятное тепло, Ленин благодарно и жадно, как будто вот-вот отнимут, вбирал его и впитывал. И от такой малости растекалась благодать по телу, и отпускала боль в желудке, преследовавшая с ночи. Надо бы завести грелку, как когда-то в Женеве.

Он неохотно оттолкнулся ладонями от подоконника, обернулся к столу. На столе, на зеленом сукне, белел квадратик запечатанной депеши.

„Деникин отступил от Орла и Курска и откатывается к югу, — прочитал Ленин. — Командарм Буденный”.

Держа депешу обеими руками, Ленин опустил в кресло, перечитал. Потом, отложив листок, закрыл глаза и,

крепко прижав веки большим и указательным пальцами, проговорил вслух, негромко:

— Деникин отступил от Орла и Курска и откатывается к югу... Отступил.

Беззвучно обрушилась расстрельная каменная стена, закрывавшая небо, оставлявшая свободной лишь полосу, голубую каемочку наверху. Падение Москвы означало конец революции. Никто этого не понимал, как он, не желал понимать — даже Троцкий. Троцкому Москва мелка, и Россия мелка, Троцкому мишенью весь мир. В теории все это замечательно, а на практике... На практике революция — и русская, и мировая — висела на волоске, и разбойничья деникинская шашка была занесена. Шашка сломалась, Деникин отходит. Волосок стал канатом, прочным, почти неперерубаемым. Неперерубаемым! Вот что значит: „Деникин отступил от Орла и Курска”.

Ленин чуть привстал в кресле и накрыл депешу ковшиком ладони — как воробышка в траве, собирающегося упрыгать, улететь невесть куда, обратно в небо. Итак, Деникин откатывается к югу. Оттеснить его в Крым, загнать джинна обратно в бутылку! Оттуда один путь — за море, в эмиграцию, к чертям собачьим! А пустят ли турки? Он потянулся за карандашом, написал на оборотной стороне депеши: „Литвинову: нажать на Лондон. Демонстрация европейского гуманизма”. На Лондон, на Париж — через третьи, разумеется, руки нажать. Спасение жизни защитников либеральной белой идеи от озверевших большевиков — вот так это должно выглядеть! От красного террора! Помощь бедненьким гонимым, гуманнейший акт европейских держав! На Париж, на Париж надобно давить — французские слюнявые интеллигентки до сих пор краснеют, вспоминая Робеспьера с его кустарной гревской машинкой. Им стыдно, им страшно. Они попросят турок, и турки, наконец-то, откроют перед русскими витязями ворота Царьграда. У белых возникнет идея фикс: эмигрировать, спастись. Это будет как снежный ком, катящийся с горы в пропасть! А мы одним махом и без всяких затрат избавимся от внутренней контрреволюции, и международный резонанс от этого по-вального бегства будет колоссальнейший, все-свет-ный! И вот тогда-то...

А что тогда? Закончится гражданская война, одуряющее кровопролитие прекратится. Но ведь именно кровь — смазочное масло революционной машины! Закончится революция — закончится грабеж награбленного, закончится действие этого действительно великого революционного призыва. Начнется неизбежное послереволюционное разгильдяйство, цивильное воровство, повальное крадло. Лампочки не то что в Кремле — по всей стране разворуют до последней. Послереволюционная апатия наступит, голодная спячка, долгая ночь после долгого дня, тьма рутины. А социализм — это свет, это европейский женеvский свет, только без мелкобуржуазного абажурчика в цветочек! Советской власти не построить социализма в России — в этой дикой, темной деревне — при свете лучины. Деревню нужно осветить, нужно дать ей электричество — и в глазах мужика это и будет нагляднейшей пропагандой социализма, чудом! На поворотах истории вождь должен, обязан демонстрировать народу чудеса, это просто входит в профессию вождя. „Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны”. Неплохо. Слабей, конечно, чем „Грабь награбленное” — но революция заканчивается, Деникин откатывается к югу... Однако в пору ли европейский свет, даже и без абажура, российской корявой деревенщине, да и городскому пролетарию — вчерашнему деревенскому мужику? Вот воп-рос вопросов! В пору ли России европейская накрахмаленная сорочка? Петр примерял — не по плечу пришлась, не вышло, а вышла уродливая какая-то помесь европейщины с азиатчиной. Да, совершенно справедливо — это было двести лет тому назад. А сейчас что? Пусть не сорочка, пусть штаны, даже тройка — но ведь европейского пошива, европейской модели. Ну, Петрограду в пору придется, ну, может, Москве — а России? Ведь это надолго надевается, сказать бы — навсегда, да само слово это — „навсегда” — для лозунгов хорошо, а в истории неприменимо. Но — надолго, потому что Деникин отступил от Орла и Курска, революция заканчивается, власть взята и укреплена. Вот эта депеша — это и есть удостоверение власти, это и есть разрешение на беспрецедентный социальный эксперимент, равного которому не было никогда.

Ленин взял бланк со стола, глядел на испещренный черными буквами листок, как на рисунок, на картину — не

читая. Ему хотелось увидеть солнечные чистые города, цветущие поля — но буквы чернели, как обожженные головешки, сливались в стальные прутья строк и мешали разглядеть замечательное будущее.

И снова знакомо-противно засосало в желудке, задержало. Грелку надо завести.

Скрипнула дверь, принесли чай. Сквозь зазор донесся из приемной звук легко-тяжелых шагов, торопливый вопрос:

— Владимир Ильич здесь?

Ленин узнал голос Троцкого и с депешей в руке нетерпеливо обернулся к двери.

— Кто остановил его? — поводя бумажным листком, спросил Ленин. — Подписано Буденным. Это он?

— Нет. — Троцкий сел на стул, встал, пересел на другой. — Это Махно. Он вгрызся ему в печень. Деникин отозвал дивизии Шкуро и Мамонтова, Буденный прорвал фронт. — Троцкий снова встал, подошел к окну, потом опустился в кресло против Ленина.

— Махно... — повторил Ленин и улыбнулся, не разжимая губ. — Этот анархист. Неужели у него такая сила? Вы знали об этом?

— Только на юге, — сказал Троцкий. — Это местные крестьяне, поголовно. От своих сел они далеко не уйдут.

— Как вы видите это „далеко“? — постукивая торцом карандаша по столу, спросил Ленин.

— Не дальше Киева, — убежденно сказал Троцкий. — Махно не Деникин, Москве он угрожать не сможет. Но это не означает ровным счетом ничего. Он опасен не своими военными возможностями. Зиновьев ездил в Гуляйполе, вел переговоры с этим псевдо-Пугачевым, с этим маленьким мерзавцем...

— Чем это он вам так насолил, Лев Давидович? — перебил Ленин. — Он лично?

— Советская власть на Юге России и махновщина совершенно несовместимы, — пропустив шпильку мимо ушей, продолжал Троцкий. — Или мы, или Махно. Его представления о мировом революционном процессе сводятся к обмену мешка зерна на рулон ситца. И на этого гнилого червя клюет и крестьянин со своим мешком, и фабричный рабочий со

своим рулоном. При таком натуральном обмене советская власть не нужна, ей просто нет места. Насаждая ее силой, мы встретим непрекращающееся сопротивление. Или — или! Теперь, когда Деникин отходит, мы должны раз и навсегда покончить с махновщиной, с этой опаснейшей мужицкой утопией.

— Ведь вы родом из тех мест, а Лев Давидович? — спросил Ленин.

— Да, немного южнее, — вдруг смутился Троцкий. — Я знаю тот край и тех людей. Прирожденные накопители, индивидуалисты. В конце концов, на нас — на вас, Владимир Ильич! — лежит ответственность за исход революции, и не только на Украине или в России. Махно мешает, махновщина должна быть вырвана с корнем.

— В награду за Деникина... — с едва уловимым раздражением сказал Ленин. — Но не будем с этим так спешить. Он еще может быть нам полезен, этот мужичок-с-ноготок с его мешком, как вы говорите.

— Мужичок-с-ноготок — это вы говорите, — остро поправил Троцкий. — Если мне он насолил, то вам, кажется, он чуть-чуть подсахарил.

— Личные симпатии и антипатии не влияют на принятие политических решений, — жестко сказал Ленин. — Махновщина будет ликвидирована.

— А Махно? — спросил Троцкий.

Ленин промолчал, отвернулся к окну.

— Не в службу, а в дружбу, — сказал он, глядя на пустой кремлевский двор, — спросите, Лев Давидович, чайку погорячей.

А Махно, закрепившись в Александровске, сходу взял Пологи и уже назавтра стремительным лобовым ударом выбил белых из Гуляйполя. Сумрачно оглядев дымящиеся пожарища на месте домов своих соратников, свежие могилы на кладбище, Махно поехал со своей сотней в Покровское. Особое, военное запустенье открылось ему за оградой усадьбы: барский дом, в котором размещалась сельхозкоммуна, был сожжен дотла, инвентарь разбит, обломки его разметаны. Работники разбрелись в поисках хлеба и жилья, только кучка старых тихих людей выползла из землянки и, кутаясь

в тряпье, приставив ладони ко лбам, безмятежно разглядывала всадников на их сытых лошадях.

Махно, не останавливаясь нигде, объехал разрушенное хозяйство. Минувя закопченные стены сарая, к которому приставлена была когда-то фанерная сапожная будка, он сторбился по-птичьи в седле и, отпустив повод, перевел коня с шага на рысь. Вскоре за обгоревшим садом пошло Поле — довоенное, довременное.

Обернувшись, Махно подозвал Семена Веселовского. Семен подъехал, кривя от боли лицо — на рыси саднила и дергала раненная под Екатеринославом слащевским осколком рука.

— Видал, что сделали... — глядя в сторону, сказал Махно. — Все пожгли, людей с места согнали. Зачем? Чтоб работали из-под палки, боялись? — И, не ожидая ответа, продолжал: — Вот что, Семен. Восстановить надо коммуну: война-то кончится, а коммуна, может, останется. Возьмешься? Ты, помню, говорил, что любишь это дело, про бабку какую-то рассказывал, которая молоко тут пила.

Семен Веселовский молчал.

— Ну? — уже с нажимом, глядя на Семена, спросил Махно. — Важно это, важней, чем с ружьем бегать! И раненье подлечишь.

— Возьмусь, Нестор Иванович, — сказал Семен Веселовский. — А что старуху запомнили — спасибо.

— Ну вот, — сказал Махно. — Хорошо... Мандат в штабе получишь. Про будку-то сапожную не забудь, поставь ее, где стояла.

— Я тогда вернусь сейчас, Нестор Иванович, — сказал Семен Веселовский. — За мандатом потом приеду.

Махно молча кивнул головой и прибавил повод.

Старики все так же торчали около своей землянки. Подъехав, Семен Веселовский спешил и, держа коня в поводу, сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

Старики здороваться не спешили, скучно стояли, и Семен волновался, не зная, как начать разговор.

— А другие люди есть тут еще? — спросил Семен. — Остались?

— Мы остались, — выступил вперед то ли горбатый, то ли просто сгорбленный старик с клюкой в руке. — А другие все убегли. — Он, видно, хотел спросить, кто такой Семен Веселовский, но остерегался.

— Тут старушка такая жила, — вглядываясь в лица стариков, сказал Семен, — маленькая такая. На балконе она сидела.

— Анисья, — уверенно сказал горбатый старик. — Судомойка. Померла она.

— Дети ее тут работали, — искал ошибку Семен Веселовский, — а она сама на пенсии уже была.

— Она, — подтвердил горбатый старик и перекрестился. — Царствие небесное...

— Когда она умерла? — не веря старику, спросил Семен.

— Дык когда... — наморщив лоб, задумался горбатый. — Наверде недавно, а, Трофим? Отсюда и вынесли, из землянки.

Трофим ничего не сказал, а только, приставив расплывший большой палец к ноздре, согласно высморкался в сторонку и утер нос рукавом задубелой прорешистой овчины.

— А ты родня ей, што ль, будешь, Анисье-то покойнице? — решился, наконец, спросить горбатый.

— Да не то чтоб родня, — медленно сказал Семен Веселовский, видя перед собой вольтеровское кресло на балконе, старуху в нем, курьи лапки старухи над размоченным в молоке хлебом. — Я тут у вас останусь, с вами. Людей соберем, новую коммуну откроем.

— А что ж, — вытянув голову из своей овчины, сказал Трофим. — Можно это. Народ-то прибежит, а скотина? Скотину-то из котла не подымешь.

— Будет и скотина, — сказал Семен Веселовский, — и дом с балконом. И пенсия вам будет, как у Анисьи.

— Кто ж нам даст? — строго спросила костлявая плоская старуха в черной хустке, державшаяся со своими подругами позади мужиков.

— Батько Махно, — сказал Семен Веселовский.

Старики помолчали, переглядываясь.

— Давай коня привяжу, — сказал Трофим. — Чего держишь...

— Привязывай, да айда в дом, — позвала строгая старуха и, пригнув голову, ровно сосупила в черный лаз землянки.

— Батько Махно целый? — дергая Семена за рукав, тихо, как о тайном, спросил горбатый старик. — Всех побил?

— Всех, дедушка, — сказал Семен Веселовский и улыбнулся.

— Тогда власть хорошая придет, — удовлетворенно сказал горбатый.

„Переправы через нижний Днепр были закрыты и тыл центральной группы наших армий, таким образом, до известной степени обеспечен. Но затяжные бои с Махно в Екатеринославской губернии продолжались еще до середины декабря, т. е. до начала общего отступления нашего за Дон и в Крым. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время”.

Генерал Деникин промакнул страницу, перечитал, по-стариковски отведя от глаз написанное, и закрыл дневник. Часы на стене показывали четверть второго ночи. За окном рабочего кабинета генерала феодосийские огни круто сбегали к черной воде моря, за которым была Турция.

Генерал зевнул, перекрестил рот и отхлебнул из стакана глоток остывшего чая. Потом пересел от стола на кожаный диван в глубине комнаты и сидел так, с открытыми невидящими глазами, между сном и явью.

15. ОБЛАВА

Обогнув розовый, цвета несвежей лососины вокзальчик, Борис Веселовский с Варенькой (так и тянет сказать: с Варенькой в поводу) торопливо пересекли безлистный, составленный из прутьев и жердин палисадник и вышли на пяточок базарной площади. После каменного просторного Севастополя все здесь, в Кисловке, выглядело маленьким и убогим: вокзальчик, базарчик. Будто кто-то, Бог просыпал тут горстку подержанных неопрятных предметов под прохладным, туго натянутым небом в белый цветочек — и вот получилась узловая станция Кисловка.

На базаре уже торговали, менялись, ругались. На рундуках зеленели ядра крепких капустных кочанов, пучки репки нежно желтели, нитки сушеных грибов свешивались, как ракушечные ожерелья, с толстых шей торговок. От бочек с соленьями шел квасной дух. Молчаливые мужики, приподымая рогожку, обнажали пласты и брусья розоватого свиного сала на коричневой башмачной шкуре. Из скучных груд тряпья торговцы выдергивали точным взмахом и держали на отлете то жеваную рубашу, то штаны или головной платок. Мебель стояла на земле: лавки и табуреты, сундуки и сундучки, красного дерева обшарпанный секретер с бронзовыми виньетками и овальными фарфоровыми бляшками, на которых изображены были французские ангелочки с золотыми трубами у губ. Вдумчивые покупатели, прицениваясь, бродили вдоль рядов, оглядывая выставленное на продажу.

Базар — игра, зрелище, торжище. Базар — пруд, где водится-ловится рыбка большая и маленькая. Для кого пруд, для кого — садок.

Облава, как ей и положено, началась внезапно, и люди базара, не на шутку вовлеченные в торговую игру, спугнуто выдирались из своих интересных ролей и оказывались в сердитом голом мире — и от этого перепада сильно паниковали. Хотелось бежать сломя голову, дико — но бежать было некуда: облавщики деловито наступали с разных сторон. То была учебная облава: Иуда Губельман учил своих людей революционно-классовому чутью, натаскивал их на подозрительных лиц. Агентура накануне молчала, не ожидалось ничего интересного, но тем ведь и хороша облава, что никогда не известно заранее, кто угодит в бредень; может, кто и покрупней. И в особенности вот это „может“ давало молодым ловчим, обучаемым ремеслу облавы, медный вкус власти над людьми.

Бежать было некуда. Борис Веселовский, оторванный уже мечущейся толпой от Вареньки, понукаемый и погоняемый белобрысым верзилой, длинноруким, с тупым и страшным лицом, угрюмо брел к выходу с базара. В воротах пойманных мужчин выстроили в колонну и повели. Идти оказалось недалеко, километра два по главной улице, потом налево то ли через какой-то захиревший лесок, то ли одичавший парк — и вот уже перед колонной краснокирпичная стена старинного монастыря и открываются железные створки ворот.

Двор был обширен, чист. В глубине двора, у входа в здание с красным флагом над высокой дверью, толпилась группа взятых на базаре женщин, медленно втягивалась в дом.

— Стой! — заорал верзила, размахивая винтовкой. — Стой, говорю! Давай к стене!

Колонна послушно попятилась, вытягиваясь вдоль стены.

— Садись!

Борис Веселовский вглядывался в поднимающихся на крыльцо женщин. Вареньки не было среди них.

— Все садись!

Белобрысый шел вдоль сидящих на земле, считал, тыкая пальцем и шевеля губами.

— ...тридцать девять, сорок, сорок один. Все!

Последняя из отловленных поднялась на крыльцо, оглянулась, исчезла в темном проеме.

— Вставай! — заорал верзила. — Пошли!

Отобрав при входе документы, их загнали в подвал дома. В подвале стоял подземельный промозглый холод, стойко пахло прокисшим вином и — по углам — мочой. Навстречу новичкам из глухой глубины подвала появился арестант в кальсонах, босоногий, разлаписто ступавший.

— Давай сюда! — позвал, энергично гребя рукою, босой.
— Тут ветра нету, не дует!

— Давно ты тут? — спросил кто-то из новичков.

— Тут долго не держат, — продолжая размахивать рукой, объяснил арестант. — Два дня уже сижу, скоро и все.

— Сапоги-то содрали с тебя?

— Ну да, — переступая, как селезень, красными лапами, сказал босой. — Смерзся я весь...

— А баб куда погнали? — продолжал спрашивать новичок. — Бабы с нами были, человек двадцать.

— А кто их знает, — сказал босой. — Сидят, наверно, где-нибудь. Дом-то вон какой, всем места хватит.

— А питание выдают? — спросил другой голос, помоложе.

— Ишь ты, питание! — засмеялся, закашлялся босой арестант. — Тут тебе такую питание пропишут!

— А воду пить?

Борис Веселовский бросил на земляной пол свой мешок и сел на него, привалившись спиной к стене. Стена была прочная, тесаного камня. Борис медленно думал о Вареньке, о мужике, с которого здесь содрали сапоги и штаны, о своих документах на имя погорельца Козельского Бориса. Эти, тут, тоже ведь не дураки: можно проверить, что сгорело. Не все же ведь подряд сгорело на Украине, кое-что осталось стоять. И какая улица, какой дом? Город какой? Может, сказать — Весело? Борис закрыл глаза, вспомнил с отвращением совет Чернодворского: „ловкость, хитрость, смекалка“. Что бы, черт возьми, придумал сам Чернодворский, окажись он в этом подвале!

Палач-исполнитель Нога пришел на службу спозаранку, трезвый — вчера пригнали шестьдесят человек, сегодня, значит, много будет работы, допоздна. Сидя в углу теплой прихожей, в сторонке, Нога, сонно щурясь, видел, как Рувим Веселовский, походя кивнув ему, Ноге, прошел в кабинет начальника Иуды Губельмана, как потом, спустя недолгое время, оба они появились на пороге, похлопали друг друга по кожаным плечам, и Иуда, сбжав по лесенке крыльца, ускакал куда-то в сопровождении конвоя, а Рувим Веселовский остался в кабинете. Много видел молчаливый Нога, сидя в своем уголке, в тепле. Видел, как, вскоре после отъезда Иуды, сунулся в кабинет начальника присланный в прошлом месяце первый заместитель Гурко и, застав за председательским столом Рувима, шваркнул дверью и выругался матерно. А как же! Начальник уехал — заместитель должен его место занять, а не Рувим. Но и Рувима жалко: вот он поздоровался, кивнул, а Гурко и не взглянет никогда, будто мимо пустого места идет. Ест Гурко Рувима, ест! Землю роет! Любит Гурко порядок, а евреев не любит. Ну, председатель — он высоко, его не достать! А Рувим, он — кто? Он его, Гурка, подчиненный — а тоже ведь достать трудно, и только потому, что они с Иудой первые друзья. И это, конечно, Гурку обидно. А если кому обидно, так тот еще сильнее укусит при первом подходящем случае. Каждый так делает, на то и люди, а не собаки.

Проводив сонным внимательным взглядом уцокавшего в своих новеньких сапожках Гурко, Нога неспешно поднялся со стула и похромал на кухню. Проверив, крут ли кипяток в бачке, он вынул из кармана галифе красномедный заварной чайничек, сдул с него соринки, обтер рукавом и, насыпав чаю, плеснул кипятка. Осторожно, чтобы не разлить, неся чайник перед собой, он подошел к кабинету начальника и постучал.

— Войдите! — разрешил Рувим.

Нога молча вошел, переволоча хромую ногу через порожек, и поставил чайник на край стола.

— Это вам, — не глядя на Рувима, сказал Нога. — И чайничек вам.

И попятился как-то боком и вышел.

Рувим, отведя глаза под очками от списка задержанных накануне в облаве, рассматривал подарок. Чайник был не здешней работы — татарский какой-то чайник, с круглым, как яблоко, низком, с коротким острым носиком, с откидной выпуклой крышкой. Глядя на чайник, Рувим вспомнил про сапоги, и на миг стало неприятно, больно ногам. Он вздохнул, протер пальцами стеклышки очков и достал из ящика стола Иудину эмалированную кружку. Чай был крепкий, терпкий. Отхлебывая с присвистом, чтоб не обжечься, Рувим Веселовский проглядывал длинный столбец имен на листе, помеченном грифом „Секретно”. Петренко Николай, Козельский Борис, Хруцкий Сергей... Что тут секретного? Покупатели, торговцы. В худшем случае, мешочники. Чего их тут держать, проверять трехслойно — сначала ему, Рувиму, потом Викулову, потом этому психопату Гурко? Только пугать население, восстанавливать его против себя. А Иуда твердит свое: „Надо пугать, надо, чтобы боялись. Будут бояться — не будут мешать, не будут вредить!” Тоже верно: этому самому населению дай волю — оно в первую очередь кинется чекистов душить, как будто в чекистах все зло. А в ком? Да в них самих, в обывателях этих, в куркулях, дальше собственного овина ничего не желающих видеть! А ЧК — это хирургический нож, вскрывающий вековой гнойный нарыв, — кто это сказал? И вот ведь ненавидят нож — глупцы, слепцы! А руку хирурга? А самого Хирурга — ненавидят? Да нет, Хирург далеко, а нож близко, вот он, нож, над каждой душой. А эти, в подвале — они-то что? Так, шелуха. Но подвал не должен пустовать. Подвал опустеет — страх пройдет у людей. Это потом, потом, после войны пусть проходит. Пока — нельзя... Он рассеянно взглянул на список, потом на чайник. Красивый чайник. Где, интересно, добыл его Нога? У кого?

Рувим Веселовский придвинул кресло поближе к столу, крикнул в закрытую дверь:

— Эй! Кто там!

Дежурный приоткрыл дверь, просунул круглую голову.

— Давай сюда вчерашних, — сказал Рувим Веселовский.

— Веди по одному.

Его втокнули часов около пяти, уже темнело. Направленный свет сильной настольной лампы бил в лицо доставленного, слепил, а Рувим Веселовский был почти невидим, неразличим на фоне сумеречного окна. Устало уткнувшись в бумаги, сгорбившись, он не глядел на арестованного, уже одного из последних.

— Имя? — не подымая головы, спросил Рувим.

— Козельский Борис, — сказал арестованный.

— Место рождения?

— Весело, — назвал Борис.

Рувим поднял лицо от бумаг, взглянул настороженно, поморгал. Увидел.

— Боря...

Он поднялся из-за стола, шагнул вдруг онемевшими ногами в полосу света.

— Рува!

Они обнялись, руки крест-накрест, и так стояли.

— Как ты попал сюда, Боря?

— На базаре взяли, Рува, вчера на базаре. А ты...

— Садись, Боря, сядь, нет, не сюда, на диван! Чаю будешь? Поешь чего-нибудь? Дай-ка я только дверь запру.

Они сели на Иудин диван, рядышком, и глядели друг на друга.

— Почему ты этот... Козельский? — спросил Рувим.

— Ну, почему... — Борис легко пожал плечами и улыбнулся. — Такие выдали документы.

— Где? — спросил Рувим

— В Крыму, — сказал Борис. — В Севастополе.

— Т-ш-ш! — прошептал Рувим и поглядел на запертую дверь. — Ты был дома?

Борис отрицательно покачал головой.

— Розу убили, — сказал Рувим.

Борис вжал голову в плечи, крепко, до боли обхватил пальцами низ лица.

— Наши? — приглушенно спросил из-под ладони.

— Нет, наши, — сказал Рувим. — Отец не в себе, сломался отец.

— Мама жива? — спросил Борис.

— Жива, — сказал Рувим. — Держится.

— Когда это случилось? — помолчал, спросил Борис.

— Когда мы ушли, — сказал Рувим. — В ту ночь.

— А Сема? — все так же из-под руки, глухо спросил Борис.

— Не знаю, — сказал Рувим. — Теперь все по-другому, Боря, пошло.

— Из-за Розы? — Борис отнял руку от лица, глядел голо.

— Из-за нас самих, — сказал Рувим. — А, впрочем, кто его знает! Ведь все сломалось не так, как мы думали: дом, жизнь.

— А помнишь... — сказал Борис и споткнулся, замолчал, глядя в колени.

— Что? — как подталкивая, мягко спросил Рувим. — Ты, Боря, о чем?

— Да нет, так, глупость какая-то, — сказал Борис. — Сам не знаю, почему вспомнил... Ну, эта терраса наша, летняя, которая в сад выходит, — как мы там чай пили все вместе, в пять, после обеда, а стекла там были такие маленькие, цветные, отец их выписал откуда-то из Киева или из Варшавы: зеленые, красные, синие. Ромбики такие, красивые. Меня тогда силком загоняли на эту террасу, сидеть там: „Боря, иди! Боря, чай стынет!“ А теперь хорошо так кажется, особенно эти стеклышки... Вот, вспомнил почему-то. — Он развел руками, глядел недоуменно.

— Тебе домой надо, Боря, — сказал Рувим. — Все равно скоро конец.

— Меня... — сказал Борис, — тут... Что со мной будет, Рува?

— Я тебя отпущу, — шепотом сказал Рувим и обнял брата за плечи. — Прямо сейчас, потом поздно будет. Иуда придет — придумаю что-нибудь.

— Какой Иуда? — спросил Борис.

— Ну, неважно, — сказал Рувим. — Потом расскажу... Ты сейчас выйдешь отсюда по этому пропуску и исчезай. Исчезай, чтоб духу твоего здесь не было, а то и себя, и меня погубишь!

— Я тут не один... — сказал Борис и замолчал, не глядя на брата.

— Как — не один? — сдавленно спросил Рувим. — Группа вас, что ли? Ты...

— Да какая там группа! — сказал Борис и улыбнулся, и от этой улыбки Рувим вздохнул освобожденно. — С девушкой я. С невестой моей!

— Она здесь? — спросил Рувим. — У нас?

— Я ее потерял, когда нас брали, — сказал Борис. — Но, может... Погляди, а, Рува? Я, может, не заметил, нас ведь разделили. А? Агеева Варвара.

Рувим колко взглянул на брата сквозь очки и потянулся к столу за своим секретным списком.

— Агеева, Агеева... — быстро водя пальцем, бормотал Рувим. — Нет тут никакой Агеевой, вот, гляди сам.

— Да вот же она, вот! — воскликнул Борис, и Рувим быстро обернулся к двери. — Гляди! — понизил голос Борис. — Темина Надежда, это она и есть. Просто я забыл, выскочило из головы!

— Мало того, что она гойка, — проворчал Рувим, — так она еще и шпионка. Ну, Боря! Тебе что, евреек не хватает?

Борис молчал, глядел на брата твердо.

— Ты возьмешь ее в Веселó? — спросил Рувим.

— Конечно, возьму! — сказал Борис. — Она маме будет помогать, она такая... Ну, Рува!

— Бедная мама, — сказал Рува. — Только этого ей недоставало... Ты вот этот пропуск покажи часовому, он тебя выпустит. Как выйдешь из ворот, иди направо до конца забора и дальше по тропинке, до пустой сторожки. Жди там. Она придет.

Рувим поднялся с дивана и потянул за собой Бориса.

— Иди, Боря, иди, милый!

Они быстро, стремительно обнялись. Рувим бесшумно отпер дверь, пропустил брата и глядел ему вслед, пока тот не миновал часового у входа. Потом сказал:

— Дежурный, давай следующего!

Следующим оказался местный житель Хруцкий Сергей.

— Много там еще? — из-за стола спросил Рувим Веселовский.

— Трое осталось, — ответил дежурный.

— Возьми-ка вот пропуск, — сказал Рувим, и дежурный перешагнул через порог, подошел. — Темину Надежду, из вчерашних, отпусти. Выполняй!

Сидя в своем углу, Нога подремывал, похрапывал, то и дело роняя голову на грудь. Инвалид устал — не от самой работы, нет, а от хождений в Сухую балку и обратно. Спускаться в овраг — это еще полбеды, хотя можно и тут свалиться и шею свернуть, а вот подниматься, карабкаться, как какой кошке, наверх было очень тяжело. Хорошо бы сейчас лечь на койку, вытянуть хроющую ногу. А Гурко все не отпускает, Гурко и ночь нипочем — не ему ж лезть по обрыву в темноте! Ему что: спустил наряд, а ты иди, исполняй. Псих, а не человек, нет, чтоб до утра подождать. Горит ему!

Нога услышал знакомое цоканье сапог по каменному полу и поднял голову. Гурко шел в свой кабинет, за ним поспевал, свесив тяжелые руки, начальник следственной части Викулов. „Сейчас опять пошлет“, — глядя вслед начальству, с раздражением подумал Нога.

Гурко, войдя в комнату, бросил на стол два комплекта документов и обернулся к Викулову.

— Садись, Лев Назарыч. Ну, что скажешь об этом?

— Что тут говорить! — Викулов сел, придвинулся со стулом к столу и облокотился о него. — Документы фальшивые. Специалист делал высокого класса, чистая работа.

— Это измена! — высоким голосом сказал Гурко.

Викулов молчал, колукая ногтем сучок в столешнице.

— Измена! — еще повысил голос Гурко. На щеках его молодого лица проступили красные неровные пятна, глаза округлились, он глядел как бы из двух глубоких трубок. — Он выпустил их!

— Ну, можно попробовать словить, — сказал Викулов. — Куда они уйдут!

— Не об этом разговор, — сухо сказал Гурко. — Да у меня и людей нет... Ты знаешь, что у нас полагается за измену?

— Ну, знаю, — неохотно сказал Викулов. — Как не знать... Но...

— Что „но“? — крикнул Гурко. — Что „но“?

— Стенка полагается, — сказал Викулов. — Но это Губельману решать.

— А почему? — вкрадчиво спросил Гурко и закурил папиросу. Пальцы его подрагивали, как будто их бил озноб.

— Ну, как почему! — рассердился, наконец, Викулов. — Непонятно, что ли, почему!

— Я имею право расстрелять его немедленно, — глядя из своих трубок, сказал Гурко. — Полное право имею. И ты, Лев Назарыч, подпишешь мне приговор — вторым. „За измену делу революции... злостное освобождение вражеских агентов... к расстрелу. Гурко, Викулов”.

— А потом Губельман придет, — хмуро сказал Викулов, — головы нам поотрывает за него.

— Не подпишешь — сам пойдешь под трибунал, — спокойно пообещал Гурко. — А Иуду не бойся — он и рот побоится открыть, у него самого голова одна, и жидовская: он быстро сообразит, что тут к чему!

— Я подпишу, — сдался Викулов. — Почему не подписать, если все ясно.

— А ответственность я беру на себя! — усмехнулся Гурко. — Дай-ка вот бланочек.

Сидя молчком в своем углу, палач Нога много видел и немало знал. Лишенный в силу вполне сложившихся жизненных обстоятельств круга друзей и собутыльников, обходимый людьми стороною, и далекой, — Нога был всецело предоставлен своим наблюдениям и располагал достатком времени для размышления над ними. Ни недоумком Нога не был, ни отменным тупицей. Тяжелые крестьянские мозги таили в своих мутных студенистых недрах и наследственную хитрецу, и приобретенную вместо отшибленного мужского корня пронизательную меланхолическую злобу. К своему ремеслу он относился снисходительно: „Ну, не я, так другой... Мне что прикажут, то я и делаю: мы люди маленькие”. Но это последнее было ради красного словца: маленьким человеком Нога себя никак не считал. Позорное увечье насмешливо принижало его, но вместе и свечою возносило, возвышало над людьми: он был не такой, как все, он был мученик. Ему бы не убивать, а хоронить мертвых, — могильщиком на кладбище, на заповедном острове среди спокойной суши он нашел бы свое место. Там, на пропускной территории меж двумя мирами, на ничейной земле, заросшей пружинистыми сильными цветами, у разверстых могил, готовых равнодушно принять в свое чрево вечный круговоротный долг — остывшую человеческую массу, — там он обрел бы и душевных товарищей, и благодарных слушате-

лей, и ему стало бы легче... Но у Губельмана не было кладбища, и могильщики не числились в его штатном расписании.

Из своего теплого угла Нога видел и мотал на ус, как Викулов, недовольно морща лицо и бормоча что-то себе под нос, вышел от Гурко и велел дежурному послать к нему начальника караула. Начальник караула, топая, явился, и, пробыв у Викулова недолго, побежал, еще пуще топая, во двор, в караульное помещение. Оттуда он вывел строем четверых солдат, трое из них встали навтыжку у двери председательского кабинета, а четвертый взялся прогуливаться вдоль фасада, под губельмановскими окнами. Нога беспокойно вертел головой и, как ни прикидывал, как ни складывал, — ничего у него не получалось. А пойти спросить у начальника караула, потереться среди солдат, поймать на лету какой намек было для него немисливо. Он сидел и ждал, и терпение его было тягостным: Нога был недоволен собой.

А потом Гурко, выглянув, неслужебно поманил его пальцем. Сбоку от зампредседательского стола стоял Викулов и тихонько покачивался с пяток на носки.

— „Решением чрезвычайного суда, — прочитал, высоко держа бланк приговора перед глазами, Гурко, — Веселовский Рувим Ёнович за измену революции, выразившуюся в злонамеренном освобождении из-под стражи контрреволюционной агентурной группы, приговаривается к расстрелу. Зампред Гурко. Начследчасти Викулов”.

Викулов все покачивался.

— Возьми своих людей и исполняй, — приказал Гурко. — Здесь, во дворе. На, держи приговор — дашь ему ознакомиться. Исполняй!

Викулов отошел к окну, оперся руками о подоконник и глядел через двор на кирпичную стену забора, еле различимую в свете не набравшей еще силу луны.

— Как же это я сразу не догадался! — выйдя от Гурко, пожалел про себя Нога. Он вспомнил про татарский чайничек и, наклонив голову к плечу, укоризненно поджал губы.

К Рувиму он вошел без стука, и пятеро солдат, толпясь в дверях, ввалились за ним.

— Когда? — прочитав приговор, отрывисто спросил Рувим.

— Да сейчас велели, — светло глядя, сказал Нога.

Рувим еще что-то хотел спросить, сказать, но, обведя глазами солдат, их пустые праздные лица, молча поднялся из-за стола. Двое солдат подошли, завели ему руки за спину.

— Ну, пошли! — сказал Нога.

Пропустив свою команду, он быстро шагнул назад в комнату. Татарский чайник стоял на краю стола, там, куда он его поставил утром. Выплеснув опивки в угол, Нога бережно закрыл крышку и опустил чайник в карман галифе. Потом, вытащив револьвер из кобуры, взвел курок, сунул оружие в боковой карман френча и вышел, притворив за собой дверь.

Команда с приговоренным была уже во дворе, и Нога, переваливаясь, поспешно спустился по ступеням крыльца. Рувим со спутанными за спиной руками шел в неровном окружении солдат. Впереди, метрах в пятидесяти, темнела стена. Догнав идущих, Нога оттолкнул солдата и пошел за Рувимом, ему в затылок.

— Нога! — то ли позвал, то ли просто сказал Рувим.

— Пойдем, пойдем... — деловито проворчал Нога. — Я быстро...

Он еще приблизился, достал револьвер и поднял руку. И тут Рувим повернулся к нему — круто, бешено. Поэтому пуля вошла ему не в затылок, а между глазом и виском.

Последнее, что увидел в жизни Рувим Веселовский — это был Гурко, стоявший в золотом окне своего кабинета.

16. ГОРОДОК ВЕСЕЛО́ (2)

Домой Борис Веселовский попал через пять дней после кисловской облавы. Не успел он выйти за ворота ЧК и дожидаться Вареньку около заброшенной сторожки, как все это происшествие вмиг утратило привкус смерти и представилось ему в новом освещении: ну да, взяли их случайно на этом гнусном рынке, засадили в подвал, но Рува же оказался тут, и все кончилось благополучно. Военное дорожное приключение, вот и все! Сколько таких еще будет в жизни... И босой мужик в кальсонах не казался уже страшным, а — забавным. Да и Чернодворский представлялся теперь не такой уж и свиньей с этим своим „ловкость, хитрость, смелка“.

В Весело приехали под вечер, в пятницу. Было холодно, взятые чистым темным ледком лужицы смачно трещали под ногами. Морозное небо нежно розовело на западе, и крупные черные птицы молча метались между небом и Полем. Главная улица была пуста, чернели кое-где проемы сожженных домов в обгорелых садах.

— Вот наш дом, смотри! — указал рукой Борис Веселовский и прибавил шагу, почти побежал, оглядываясь на Вареньку.

Сквозь ставни дома Веселовских пробивался желтый жидкий свет. Борис постучал в дверь, потом сильнее.

— Кто там? — помедлив, недовольно спросили из-за двери.

— Я. Женюра, это я! — крикнул Борис Веселовский. — Открывай! Боря это!

Послышался скрежет и стук отпираемых замков, и дверь приотворилась. Женюра стояла на пороге — в старом хозяйском пальто с бархатным воротником, в фартуке поверх пальто.

— Ну, открывай, открывай! — шутливо прикрикнул Борис и — шепотом, указывая взглядом вверх по лестнице: — Как — там?

Женюра тихо выла, поднеся краешек фартука к сухим глазам.

— Бо-оря! — выла Женюра. — Живой!

— Ну, пусти же нас! — мягко отстраняя Женюру, сказал Борис и, держа Вареньку за руку, стараясь не скрипеть ступеньками, стал подниматься по лестнице.

Квадратный дедовский стол стоял в верхней гостиной, две свечи в медных подсвечниках горели на столе, и лежала раскрытая Библия в толстом старинном переплете. Против свечей, наклонив лицо к книге, сидел в высоком кресле Иона Лазаревич Веселовский, отец и хозяин. На белую голову старика надета была глубокая черная ермолка.

— Я просил Бога, и Он прислал тебя ко мне, — поглядев на сына, сказал Иона Лазаревич. — Барух ата, Адонай!... Фрума, Фрума! Берелэ здесь! — и, упав лбом на книгу, он затрясся, заплакал, возя сухими серебряными руками по субботней скатерти.

Борис чуть виновато взглянул на Вареньку и подошел к отцу:

— Ну что ты, папа, ну, успокойся! Ну...

От дверей шла Фрума Борисовна, голова ее была покрыта косынкой, зашпиленной на затылке. Она шла, разведя руки, как будто несла что-то большое и хрупкое — любовь или, может, дурманное неверие в уже случившееся чудо — и боялась по неловкости повредить это или разбить. И, подойдя к столу, она с облегчением опустила этот груз на своих мужчин, обняла их накрепко и сплотила их, и сплотившись с ними. И так они застыли теплой живой глыбой, перед свечами.

— Это Варенька, вот познакомьтесь, — высвобождаясь, сказал Борис.

— Да, — сказал Иона Лазаревич. — Ты младший, и ты пришел первым. Теперь придет Шимон, за ним Рувим. Я буду просить Бога, и они придут. Только Роза... — Он снова заплакал, глядя на свечи, кривя лицо.

— Папа теперь верит в Бога, — вздохнув, сказала Фрума Борисовна, — и я тоже надела косынку. Так он хочет... Идите умойтесь с дороги, дети! И переоденься, надень коричневый костюм, он висит в шкафу — ты такой странный во всем этом... Женюра, что ты стоишь, как чужая! Неси на стол то, что на завтра! Или нет, сначала покажи девушке, где умыться!

Когда они вышли, Фрума Борисовна повернулась к сыну.

— Это моя невеста, мама, — сказал Борис. — Можно сказать, жена.

— Так жена или невеста? — требовательно спросила Фрума Борисовна. — Вы делали свадьбу?

— Свадьбу мы не делали, — глядя мать по плечам, сказал Борис. — Какая там сейчас свадьба, мама!

— Она гойка? — помолчав, спросила Фрума Борисовна.

— Она русская, да, — сказал Борис.

— Отец этого не переживет, — твердо сказала Фрума Борисовна.

— Но это же!.. — начал было Борис.

— Они убили твою сестру, — перебила Фрума Борисовна. — Посмотри на отца.

— Но при чем здесь Варя, мама! — держа мать за плечи, сказал Борис. — Ее родных тоже убили русские!

— Это не поможет, — горестно сказала Фрума Борисовна. — Ему, — она взглянула на шепчущего что-то, раскачивающегося над книгой Иону Лазаревича, — это не поможет...

— Но кому это может помочь? — отшатнулся Борис. — То, что убили?

— Ты любишь ее? — не ответила Фрума Борисовна.

— Да! — сказал Борис.

— Бедный мальчик, — сказала Фрума Борисовна. — Бедные мы все... Потом будем говорить об этом, и никому не рассказывай, и Женюре тоже. Так, знакомые...

Иона Лазаревич поднялся из-за стола и шел к ним.

— О Боге вспоминают или когда очень плохо, или когда очень, очень хорошо, — назидательно сказал Иона Лазаревич. — Тебе, мальчик, и не так, и не так, поэтому ты еще не вспомнил о Боге.

— Иногда он все понимает, вот так, как сейчас, — сказала Фрума Борисовна об Ионе Лазаревиче, как будто это не он стоял рядом, как будто его вовсе не было в комнате. — А то вдруг находит на него, никого он не узнает и что говорит, не поймешь. Даже я не понимаю. — Она протянула руку и сняла с бороды старика хлебную крошку.

— Отец сторож детям своим, — не обратив внимания на слова жены, сказал Иона Лазаревич. — Плохой сторож, рассеянный сторож. Приходит зверь и терзает дитя на глазах у плохого отца. — Он поднес кулачок ко лбу, всхлипнул. — А Бог играет с отцом, Бог спрашивает с брата.

— Готово, — озабоченно сказала Фрума Борисовна, — пойдем к столу. Суббота, суббота пришла, и Боря наш вернулся.

— Да, — сказал Иона Лазаревич. — Да. Садись справа от меня, мальчик, а это местá твоих братьев. А здесь я сидел, когда был, как ты, а тут — тут! — он указал прямым пальцем на свое кресло, — сидел твой дед Элиэйзер, мой отец, и так было всегда.

— Я только сбегая переоденусь, — сказал Борис и бережно, как больного близкого человека, поцеловал отца в щеку.

Еды было немного, а ужинали долго: не хотелось вставать из-за стола, расходиться, разделяться. Говорили о чем угодно, только не о том, с кем ушел Рувим, где Семен и откуда приехал Борис. Дети на войне — и это всё. И имя Розы не было произнесено за весь вечер ни разу.

— Наш Бог наслал эту войну, чтобы испытать нас, — болтая чай в стакане, сказал Иона Лазаревич. — И мы не выдержали испытания, мы провалились с треском! Кто это выдумал, что воевать — это дело мужчин? С кем? За что? Давид воевал с Голиафом, но Давид не жил в Весело, и Голиаф не жил в Златополье. Пусть воюют гои, тутеры, китайцы — пусть, если они так хотят! Но кто их Голиаф? Кто? Германец? Поляк? Скажи мне, мой военный сын! И скажи мне, при чем тут евреи. Ты воюешь, и твои братья воюют — за что? За нашу землю? Но это не наша земля, мы живем тут

на куриных правах. За справедливость? Но несправедливость — да, она одна, а справедливостей столько, сколько живет людей на белом свете: каждый думает, что у него в кармане ключ от справедливости, а у него в кармане ключ от пустого сундука. И если за это воевать до конца, так не останется ни одного человека на земле: все погибнут, потому что никто не согласится с другим и не сядет с ним за стол. Нет справедливости, не существует, Бог ее нам не дал, как не дал твердую веру или красный хлеб. Нет! Всегда один смеется а другой плачет, и обиженный бунтует против обидчика, обойденный — против обошедшего. И на том стоит мир, а без этого люди превратятся в траву. И ничего тут не изменят никакие свободы и никакие конституции... Вот тут все написано, — он легонько постучал ладонью по темному переплету Библии, — я думал, что евреи это понимают. Но я и сам понял это совсем недавно, мальчик.

А о Вареньке словно бы и забыли, она как бы и вовсе не сидела за этим столом посреди войны. Только Женюра, тихонько что-то ворча, подкладывала ей в тарелку, да Борис горячими глазами поглядывал на нее через стол, как через снежное поле.

В конце ужина Иона Лазаревич стал подремывать, плести невпопад.

— Папа устал, — сказала Фрума Борисовна, как про маленького. — Спать пора. — И поднялась из-за стола.

Борис встал за нею следом, отвел в сторону, попросил еле слышно:

— Пусть Женюра постелит нам у меня, разместимся как-нибудь.

— Нет! — твердо сказала Фрума Борисовна. — Твоей гостье приготовлено у Рувы в комнате. Спокойной ночи!

Боря сердито пожал плечами и отвернулся.

Перед тем, как разойтись по комнатам, Варенька украдкой прижалась к Борису в темном коридоре, прошептала с натянутой улыбкой:

— Ничего, Боря. Может, они еще привыкнут...

Борис понимал, знал: не привыкнут никогда.

Наутро Варенька с Женюрой пили чай в холодной кухне. Борис, накрывшись двумя одеялами и пледом, спал у

себя. Фрума Борисовна еще не выходила. Прикрепив филактерии и с головой закутавшись в талес, Иона Лазаревич молился в своей комнате.

Здесь, в еврейском доме, Варенька испытывала тоскливую и неотвратимую тягу к кухарке Женюре. Сидеть с ней на кухне, вдали от хозяев дома, было почти приятно.

— Они хорошие люди, — как бы оправдываясь и оправдывая хозяев, сказала Женюра. — Да ведь времена-то какие! Раньше Иона Лазаревич был тут первый человек, чуть что — Веселовский да Веселовский. И ученый и простой. А после Розы-то нашей тронулся умом... Ты бери хлеб, бери, кушай!

— По их закону только на своих можно жениться? — осторожно спросила Варенька. — На еврейках?

— Да как сказать! — не дала прямого ответа Женюра. — Закон ведь как повернешь — хоть наш, хоть ихний. До войны еще тут, в Весело, женился один на нашей, на гойке — так ему житься не стало: уехал в Екатеринослав, переплетную, говорят, там открыл. Но Боря — он прямой, упрямый!

— Он такой хороший... — благодарно сказала Варенька.

Они замолчали, почти физически ощущая теплую живую приязнь, возникшую между ними, скрытую кровную связь между двумя русскими женщинами, в чужом еврейском доме. И каждая с вязкой горечью думала о себе, о своей жизни.

— Вы давно здесь живете, Женюра? — спросила Варенька. — У них?

— Скоро двадцать лет, — вздохнула, как о пролетевшей жизни, Женюра. — Или нет, постой-ка, за двадцать уже! Боря-то наш при мне родился.

Борис вошел — выбритый, свежий после сна, в незнакомой одежде.

— А я тебя ищу, — сказал, взглянув на Женюру с прокладцей. — Давно встала?

Другим сделался Боря со вчерашнего вечера, дерганым. Как за стеклом Боря: рядом, а не достать.

— Давно уже, — сказала Варенька. — Встала, а все еще спят. Вот мы тут и сидели.

— Зачем же на кухне-то... — буркнул Борис.

Женюра поднялась, вышла неслышно. Борис сел на ее место.

— Я пойду поговорю с родителями, — постукивая ногой по полу, сказал Борис. — Так невозможно. Ты прости меня...

— Да за что же, Боря? — слишком уж порывисто вскинулась Варенька.

— Тут у них свои порядки завелись, новые, — жестко сказал Борис, и это почти грубое „у них” радостно прошелестело над Варенькиной душой. — Они думают, что я ребенок, мальчишка: „Это можно, это нельзя”... Раньше так не было.

— Может, ты просто забыл? — сказала Варенька.

— Какой там забыл! — досадливо отмахнулся Борис. — Это они забыли и не понимают ничего! А я все равно просить ни о чем не буду. Тоже, синагогу тут устроили!

Она подошла к нему сзади, обняла, закрыла ладонями глаза его, губы. Ладони пахли печеной картошкой, вчерашним утром, севастопольскими глициниями. Он медленно, по капле втянул этот чужой здесь запах и, не открывая глаз, тихонько поцеловал ее руки.

Иона Лазаревич сидел шивэ.

Выслушав Бориса, он ушел к себе в кабинет, бросил в угол подушку-думку, надорвал ворот сорочки и опустился на пол. На сына, зашедшего к нему в комнату продолжить только начавшийся разговор, он не глядел.

— Я сказал тебе, папа, — зло повторил Борис. — Варя — моя жена. — И, помолчав, добавил: — Твоя невестка.

Сидя на полу, на думке, Иона Лазаревич раскачивался, закрыв лицо руками.

Стуча каблуками по лестнице, Борис спустился к матери.

— Мама, — задышливо сказал Борис, — с папой что-то происходит. Он сел на пол и сидит.

— Ты не знаешь, почему он сел? — крикнула Фрума Борисовна. — О, Господи!

Она оттолкнула сына, побежала наверх.

— Встань, что ты делаешь! — войдя к мужу, плача, сказала Фрума Борисовна. — Может, она пройдет гиюр.

— Эту сорочку уже нельзя зашить, — сказал со своей подушки Иона Лазаревич. — Запрещено! Я потерял дочь, теперь я потерял сына. Двое у меня еще осталось, слава Богу. Оставь меня!

— При чем тут сорочка, Ёна! — плакала Фрума Борисовна. — Хватит уже! Ты хоронишь своего ребенка!

— Я сам во всем виноват, Фрума, — сказал Иона Лазаревич. — Мы должны были уехать в Палестину, и ты меня звала. Я остался — из-за них, из-за детей. Думал, так им будет лучше: каменный дом, образование. Я ошибся... А ведь он был такой золотой ребенок, наш Берелэ!

— Замолчи! — вскрикнула Фрума Борисовна и, подняв руки, ударила себя кулаками по голове. — Будет несчастье!

— Уже, — сказал Иона Лазаревич. — Уже пришло. — И отвернулся к стене.

Каменный дом затих, замер. Каждый сидел в своем углу. Говорили шепотом, будто в доме действительно лежал покойник и жизнь теперь кое-как восстановится лишь после того, как его вынесут отсюда.

Время шло медленно, тянулось вязко.

— Обед хозяину в кабинет подавать или как? — спросила Женюра.

— Ну, подай, — сказала Фрума Борисовна. — Где дети?

— Укладывается Боря, — хмуро сказала Женюра. — Опять в скомороха вырядился.

Фрума Борисовна кивнула головой.

Собирать было нечего, и собираться было недолго. Увязав тощий мешок, Борис вскинул его на плечо и кивнул Вареньке, сидевшей молчком:

— Пошли...

За дверью стояла Женюра.

— Фрума Борисовна зовет!

Фрума Борисовна ждала в верхней гостиной, косынка ее съехала набок, измятое лицо было серо и дрябло.

— Пусть пройдет время, дети, — горько сказала Фрума Борисовна. — И помните: у вас все-таки есть дом.

Варенька жалась за спиной Бориса, не выглядывала.

— Вам, наверно, трудно это понять, милая девушка, — сказала Фрума Борисовна. — Для этого нужно родиться евреем...

— Попрощаться с отцом? — спросил Борис. — Можно, как ты думаешь?

— Откуда я знаю! — подняла плечи Фрума Борисовна. — Иди, скажи ему что-нибудь.

Иона Лазаревич не обернулся на скрип отворяемой двери.

— До свиданья, папа, — сказал Борис с порога. — Мы уезжаем. Просто я должен вернуться в часть. Не сердись!

— Дождь, грязь, несчастье! — глухо произнес Иона Лазаревич.

Отступив в коридор, Борис с облегчением закрыл за собой дверь.

17. НА ПОСЛЕДНЕМ БЕРЕГУ

С гор Севастополь казался плоским, распластанным. Он не сбегал к морю — сползал. Парки и сады, вскормленные сверкающим молоком крымского солнца, выглядели сверху лишайниками на серой северной скале.

Где-то там, над берегом, вьется тропинка Малой Андреевской улицы, меблированная квартирка смотрит двумя окнами на улицу, одним — во двор. Только спуститься вниз — и ключ от этой двухкомнатной мечты повернется в замке, и откроется дверь, и откроется рай. Две комнаты с балконом. И если Чернодворский не подведет, останутся еще деньги на пружинную кровать и напольные часы с боем.

— Гляди, Боря, во-он наша улица! — сказала Варенька и указала рукой. — Только дом никак не разобрать. Видишь?

— Ну, вижу, — сказал Борис Веселовский, вглядываясь добросовестно.

Горными лесами, пастушьими татарскими тропами они обошли заслоны красных и вышли к Севастополю с северо-западной стороны. Оставалось только спуститься вниз, в город. Два часа ходьбы отделяли их от моря, от Малой Андреевской, от Чернодворского и от Марка Леви.

Пройдя ветреный перевал, они с опаской, на крепких молодых ногах, заскользили по каменистым крутизнам. Это было страшно, но и весело: они играли с горой, а город приближался, рос, как выигрыш, и кораблики плясали в бухте.

Чем ближе Севастополь — тем площе, мертвей становилась Умань, и Кисловка, и Весело. Сырой морской ветер выметал недавние воспоминания из податливой памяти Вареньки и Бориса, сглаживал там образы и фигуры, как нацарапанные прутиком рисунки на песке.

Обратная дорога в Крым как бы пролегла над пропастью и в темноте: оступишься — сорвешься. Новые документы, полученные у Еремеева в Киеве, никуда не годились, от них за версту несло липой; даже босяк от них с пренебрежением бы отказался. А белоцерковский Фомин по указанному Черnodворским адресу не проживал, и из осторожных расспросов стало ясно, что судьба его темна: арестованный красными, он, скорее всего, уже не в живых. Зато ответ, полученный от Еремеева, был тверд и наверняка понравился бы полковнику Черnodворскому: „Бандероль уйдет с первой почтой”. А когда придет время этой первой почты, Борису Веселовскому знать не полагалось.

Из Киева, а потом из Весело Севастополь с его солнечными улицами, с Голубым духаном представлялся почти нереальным: так, сон какой-то, ночное наваждение, а проснешься — серый, глиняный мир вокруг, и хочется снова закрыть глаза. После ссоры с отцом Севастополь как бы опустился с неба на зеленых и желтых шелковых лентах и повис перед лицом Бориса Веселовского — шагни и возьми, и успокойся!

Ехали-шагали почти три недели, и вот, наконец, пришли.

По севастопольским улицам к морю спускались, толпясь, люди — тысячи людей, военных и гражданских, нагруженных узлами, коробками и чемоданами, мешками и тюками, катя перед собой тележки, детские коляски и заляпанные землей рабочие тачки. Люди двигались молча, лишь изредка огрызаясь друг на друга: кто-то кого-то толкнул, чью-то тележку перевернули в толчее, и развалился ящик, расползлись пожитки, и чайник, гремя, поскакал по камням. Чем ближе к морю, к порту — тем сильнее шум толпы, громче ругань: корабли в гавани густо дымят трубами, вот-вот, кажется, снимутся с якорей, уйдут, вспенивая черную воду, рубя винтами душу глядящих им вслед. Вот

они, рядом, родные корабли спасения, за двойной шеренгой солдатских штыков. Возьмут? Или бросят? И тянет молить о милосердии вместительные железные коробки, а не их капитанов.

И толпа, вопя, молит, проклиная — молит. Но не заглушает шум толпы ленивого, наглого постреливанья красных пушек из-за перевала.

Полковник Чернодворский сидел за столиком в кофейне „Бриз“, у окна. Синий духан сгорел на прошлой неделе дотла, подожженный злоумышленником — большевистским агентом или, может, людьми Задова: махновцы любили устраивать подобные фейерверки, это было в их стиле.

— Идем на Царьград, — глядя на кишаший людьми порт, сказал полковник и усмехнулся. — Страшное все-таки это дело, толпа! Ну, куда их всех несет, без пропусков?

— Кто с пропусками, тем спешить некуда, — поглядывая в окно, сказал Лупанаров. — Успеют...

— Царьград, Царьград! — надув щеки, протрубил-пропел Залуцкий. — Главное, гвозди не забыть: щиты приколачивать над воротами.

— Какой вы все-таки циник! — сощурился Лупанаров. — Нельзя же уж так, в самом деле...

— Винюсь, винюсь! — не стал спорить Залуцкий. — Забыл... Вы были к нему привязаны, к этому вашему родственнику? Вместе росли?

— Да не в нем дело! — досадливо отмахнулся Лупанаров. — Я его и не встречал никогда, он моего отца какой-то троюродный племянник.

— Что ж вы тогда расстраиваетесь? — удивился Залуцкий. — Красные уже пол-России перерезали, скоро в собственное горло вгрызутся. Через полгода, ну, год, мы сюда вернемся — никого не останется: голая земля.

Чернодворский остро взглянул на Залуцкого и снова усмехнулся.

— А мы свое дело сделали, господа! — продолжал Залуцкий. — Объявляется, можно сказать, антракт. Мы его пересядим, слава Богу, не у турок. Жизнь, как говорится, дается человеку один раз, и прожить ее надо в Париже... Где они его? — он участливо перегнулся через столик к Лупанарову. — Этого племянника?

— В Кисловке, — ровным голосом сказал Чернодворский. — Там в ЧК сидит какой-то еврей, политкаторжанин... Кстати, наш жидок вернулся, выбрал время.

— Ну, что? — спросил Лупанаров.

— Привез ответ от Еремеева, — сказал Чернодворский, — да что нам теперь с того? — Он кивнул на окно. — „С первой почтой“... Кто ее тут завтра получит?

— Каков кот, таков и приплод, — возмущенно сказал Залуцкий. — А раньше он не мог...

— Ваша кандидатура, — сухо сказал Чернодворский. — Он тоже в Турцию хочет, пропуск просит.

— Ну, знаете ли! — развел руками Залуцкий. — Только их там не хватало! — он перевернул чашечку из-под кофе, дал стечь коричневым каплям с гущи и с любопытством заглянул вовнутрь. — Не увлекаетесь, полковник?

— Нет, не увлекаюсь, — сказал Чернодворский. — Я, как вам известно, по другому ведомству.

— А я вот балуюсь, — сказал Залуцкий. — Так, для забавы... А что с девушкой?

— С какой девушкой? — спросил Чернодворский.

— Ну, этой, — сказал Залуцкий. — Полненькой. Вы их вместе посылали.

— А, этой! — сказал Чернодворский и покачал головой. — Да ничего. Он два пропуска просит: на себя и на нее.

— Дадите? — не отводя взгляд от донца чашки, спросил Залуцкий.

— Не дам, — сказал Чернодворский.

— Ничего не вижу! — глядя на подтеки гущи, сказал Залуцкий. — Неразбериха, хаос.

— Так и есть! — проворчал Лупанаров. — Соответствует в точности.

— Позвольте не согласиться! — энергично возразил Залуцкий. — Я, знаете, не оптимист какой-нибудь, каждый вам скажет, но мы все же неплохо подготовились и едем не на пустое место, как другие.

— Не мы одни такие предусмотрительные, — затыгиваясь папиросой, сказал Чернодворский, — вы уж мне поверьте. А оставаться оптимистом в создавшейся ситуации довольно трудно. Я, во всяком случае, таких не видал.

— Ну, я говорю в самом общем смысле, — не сдался Залуцкий. — Жаловаться нам, видит Бог, не стоит.

— Смотря на что, — мрачно сказал Лупанаров. — Да и кому тут жаловаться-то?.. Эй, официант, подай водки!

— Водки не держим, — виновато наклонившись, сказал официант, — а коньяк весь выпили.

— Тогда ликеру, — сказал Лупанаров и поморщился. — Бутылку.

— Какого прикажете? — спросил официант, разгибаясь.

— Какого покрепче, — сказал Лупанаров.

— Вы уже перевезли свой багаж? — отставив, наконец, свою чашку в сторону, спросил Залуцкий у Черновдворского.

— Пожалуй, — уклончиво ответил полковник.

— А я с утра еще все организовал, — сказал Залуцкий, — пока не было этой толкучки.

— Большой багаж? — поинтересовался Черновдворский.

— Ну, не так, чтоб очень большой, — сказал Залуцкий, — но кое-что есть. Памятные вещи, в основном. Как-никак, всю жизнь здесь прожил — накопилось.

— Потемкинский секретер из местного музея? — мягко усмехаясь, спросил Черновдворский.

— Ну, не оставлять же этим разбойникам! — не смутился Залуцкий. — Они его на щепу расколют и в печке сожгут. Им что реликвия, что полено — один лядр.

— Что? — отрывисто спросил Черновдворский. — Какой лядр?

— Шутит он, — сказал Лупанаров, разливая ликер в рюмки. — Им, мол, красным, один черт... Официант, принеси-ка стаканы, мы тут до утра просидим с твоими наперстка-ми!.. Выпьем, господа, может, в последний раз на родной земле.

Они встали, с шумом отодвинув стулья, чокнулись и выпили залпом.

— Да-да, пора, — взглянув на часы, сказал Залуцкий. — Через полтора часа уходим... Вы поглядите, что там делается!

Толпа прорвала оцепление и залила всю площадь порта. Задние напирали, передние цеплялись за что попало, чтоб не упасть в воду — за сваленные на причалах грузы, друг за друга. Людское скопище ревело, бурлило, то приливая к

самой воде, то отшатываясь. Казалось, высокие волны моря, перехлестнув через камни набережной, бушевали меж постройками порта.

— Качка! — сквозь зубы пробормотал Лупанаров со стаканом в руке.

Миноносец под английским флагом разворачивался, ложась курсом на юг. Волна била в борт, корабль раскачивало.

— Начальство уехало, — мельком взглянув в окно, сказал Чернодворский.

— Большому кораблю и карты в руки, — откликнулся Залуцкий и снова поглядел на часы. — Пора и нам, господа.

— На посошок, — сказал Лупанаров, наливая.

Пили прощальную в домах, харчевнях и одичавших казармах, пили в подворотнях и на улицах, пили и утирали рот ладонью, и размазывали слезы по лицу. И, не стыдясь слез, стыдно мечтали об одном: попасть бы на корабль.

И красные пушки постреливали из-за перевала.

Борис Веселовский с Варенькой и Марком Леви прощался с родиной на скамейке городского бульвара. Початая бутылка водки и стакан стояли на краю скамейки, лежала буханка хлеба и полкруга украинской колбасы.

— Чем не Синий духан! — оглядывая угощение, сказал Марк Леви. — Это он сам его подпалил, хозяин: темное дело... Но как замечательно, что ты вернулся, наконец! — Он повернулся к Вареньке. — Вы рады?

— Очень, — сказала Варенька.

— Я тоже, — сказал Марк Леви. — Вы на каком пароходе?

— Не знаю еще, — сказал Борис Веселовский. — Мне надо зайти за пропусками тут к одному...

— А, — сказал Марк Леви. — Но на кого ты похож? Турки испугаются. И девушка тут без тебя пообтрепалась.

Они действительно были похожи не на рядовых погорельцев, а на лесных бродяг, которую ночь ночевавших под кустом.

— Квартиру мою обокрали, — сказала Варенька, — все унесли, и его вещи. Ну, да что там... Главное, выбраться отсюда. В порту, говорят, людей подавили уйму.

— Тянет, тянет перевернуть эту страницу, — сказал Марк Леви. — А что на следующей? Там ведь все по-чужому написано, по-турецки.

— А здесь завтра резню устроят, — сказала Варенька.

— Да, выбор узкий, — сказал Марк Леви и потянулся за бутылкой. — Давайте выпьем за Россию. А как еще скажешь? Ведь кончается жизнь.

Варенька отвернулась, сказала глухо, в нос:

— Может, получится еще куда-нибудь выбраться из этой Турции.

— А это уже все равно, — сказал Марк Леви. — Турки, французы — какая разница! Вот этого всего — он обвел рукою с бутылкой бульвар, порт и дальние горы, — уже никогда не будет. Смотрите же, смотрите! — Не снимая руки с горлышка бутылки, он поставил ее на скамейку и глядел, сильно и глубоко дыша. Потом налил стакан до половины и протянул его Вареньке. — Пейте! Вам, наверно, полагается первой, и не только как даме.

Варенька приняла водку, медленно выпила до дна и вернула стакан Марку Леви.

— Зря вы так говорите, Марк, — сказала она. — Какая там первая! Все мы теперь одинаковые.

— Вы правы, простите меня, — сказал Марк Леви. — Я тоже хочу так думать... Давай, Боря, за эту землю — другой у нас нет.

— Думаешь, не вернемся? — спросил Борис Веселовский.

— Не знаю, — сказал Марк Леви. — Только чтоб умереть. Но тогда и уезжать ни к чему.

Пушки вдруг ударили слаженно, скопом. Потревоженные птицы поднялись с деревьев бульвара и повисли над ними, возмущенно переговариваясь.

— Бьют, гады, — сказал Борис Веселовский и поглядел на перевал. — Завтра, думаешь, войдут?

— Завтра, послезавтра, — рассеянно, как о второстепенном, сказал Марк Леви. — Куда им теперь спешить? Это мы спешим...

Он поглядел вниз по бульвару. Порт был ровно залит людьми по самую кромку воды. Английский миноносец мышинового цвета, раскачиваясь на высокой волне, ходко бежал к выходу из гавани.

— Поехали, — сказал Марк Леви, следя за тем, как жирный дым из труб корабля ветром относит обратно к берегу. — „И дым отечества...” Что там, интересно, за дым, в Турции? Саксаул? Кизьяк?

Он отлил водку в стакан и придвинул к Борису, а сам поднял бутылку к губам, как горн.

— На посошок!

— Пойдем, Боря, — сказала Варенька, подымаясь. — Еще за пропусками надо...

А Марк Леви огляделся, словно бы ища что-то рядом, близко. Помедлив миг, он шагнул к тополию за скамейкой и, поцеловав кончики пальцев, коснулся ими теплой кожи ствола.

— Что он делает? — шепотом спросила Варенька.

— Это мы так целуем мезузу, когда уходим из дома, — неохотно объяснил Борис Веселовский.

Варенька не знала, что такое мезуза, но спросить почему-то не решилась.

Двери явочной квартиры полковника Черnodворского, помещавшейся в маленьком домике неподалеку от центра города, были открыты настежь. Домик был пуст, в кабинете полковника гулял ветер, возя по полу обрывки каких-то бумаг. Опорожненные ящики стола грудой валялись на диване, на гвозде болталась карта Крыма.

— Ой!.. — сказала Варенька, глядя на возникшее перед ними запустение.

— Ну, не бросит же он нас здесь... — зачем-то входя в комнату, неуверенно сказал Борис Веселовский.

— Он уехал! — вскрикнула Варенька. — Боря, бежим в порт!

Улицы, пропустив толпы, стояли теперь пустыми, усталыми. Никто не мешал Борису и Вареньке, они быстро спускались к морю, и беспокойство пополам со страхом толкало их в спину. Они шли молча, каждый, не тревожа другого, отчаянно думал о том, как найти в порту Черnodворского, как попасть на корабль. А недоступные эти корабли, открытые для других людей, только не для них, домовито дымили в гавани, и веяло от них уютом и запретной жизнью.

Портовые ворота не охранялись, и во враждебной, истеричной людской толчее не у кого было спросить о Черноворском. Протолкавшись поближе к причалу, Борис Веселовский с завистью и ненавистью всматривался в лица тех, кто уже не принадлежал этой земле, проклинаемой и любимой, этому вдруг так страшно опустевшему городу, тому дереву, с которым, уходя, простился Марк Леви. Эти люди, вольно облокотившиеся о бортовые поручни кораблей, были людьми иной породы; покуривая и поплеывая в воду, они о чем-то неторопливо переговаривались между собой и глядели на оставшихся на берегу, как глядят, грызя леденцы, посетители зоологического сада на диких зверей, безопасно отделенных от них рвом с глубокой водою. Их было много там, на кораблях, за рвом, хотя и не больше, чем тех, других, на берегу. Но Черноворского не было и среди них.

— Может, он на военном... — сказала Варенька, и Борис Веселовский покорно повернулся и, расталкивая толпящихся, пошел вдоль причала к французской канонерке, стоявшей особняком. У узкого трапа корабля дежурил усиленный наряд матросов с короткими винтовками, в беретах с помпонами, и тихо переминались с ноги на ногу сотни две беженцев, по большей части офицеров и женщин с детьми. Тут, на виду у иностранцев, не кричали и не толкались, не ругались и не требовали — тут молча напоминали о себе. И пассажиры — человек пятьдесят штатских и старших офицеров — не плевали за борт и вообще не глядели на берег, как будто исчез уже за горизонтом, не стал виден последний российский берег с оставленными на нем русскими людьми.

Залуцкий, поставив воротник шинели, прохаживался по верхней палубе канонерки. Ветер набрасывался порывами, было зябко, и Залуцкий несколько раз собирался спуститься в каюту — но какая-то упрямая сила удерживала его наверху, и он, снисходительно улыбаясь в теплый воротник, не противился ей. Вот-вот должны были уже отойти, и тогда — Залуцкий знал — эта властная сила отпустит его, освободит, и можно будет, в последний раз взглянув на севастиопольский причал, идти к себе и ложиться в постель... Так он прохаживался, стараясь не очень-то попадаться на глаза стоявшим на берегу.

Вареньку он заметил случайно, мельком взглянув на французского морского офицера, бегом подымавшегося по трапу на корабль. Она стояла около самого трапа, в какой-то бесформенной холодной кофтенке, накинутой на полные плечи, в черном платке, опущенном почти до бровей, и объясняла что-то матросу, кивавшему в ответ головой — Варенька, как видно, говорила по-французски. Из-за воротника Залуцкий взгляделся пристальней — да, конечно, это была она, эта таперша с белыми руками, с удивительно легкой и плавной для такого плотного тела походкой... Распахнув шинель, он, торопясь, обогнул рубку и поднялся к командиру.

— Мой капитан, — непринужденно грассируя, сказал Залуцкий, — у меня к вам маленькая просьба... Там, у трапа, моя племянница, несчастная сирота. Вы ведь не позволите этим красным маньякам надругаться над ее юностью.

Командир стоял, хмуро глядя на Залуцкого.

— В мою каюту, разумеется, — мягко добавил Залуцкий. — Она никому не помешает, кроме меня. А в Марселе я все сам улажу.

— Хорошо, — немного помедлив, сказал командир и улыбнулся. — Я разрешаю... Молодая племянница, молодой дядя!

— Вот она! — указал рукой Залуцкий. — Говорит с вашим матросом. Ее отец был казачьим генералом.

Спустя минуту Залуцкий, под насмешливым и дерзким взглядом командира, обнял и расцеловал Вареньку Агееву.

— Поблагодарите капитана, — шепнул Залуцкий, брезгливо вдыхая прелый запах Варенькиной ветхой кофты. — Или нет, лучше потом.

— Там Боря, — заглядывая в лицо Залуцкого, сказала Варенька. — Черноворский обещал пропуска. Скажите ему!

— Ну, успокойтесь! — поглаживая Вареньку по голове, сказал Залуцкий. — Черноворский уехал, его здесь нет. Успокойтесь, все уже позади!

— Но Боря остался там! — отстраняясь, сказала Варенька. — Ему нужен пропуск!

— Нет никакого пропуска, дитя мое, — продолжая улыбаться, строгим голосом сказал Залуцкий. — Вы ставите меня в неловкое положение!

— Но я не могу! — крикнула Варенька. — Они же его убьют!

— Можете, можете! — кося глазом на капитана, прожурчал Залуцкий. — Вы русская девушка, а он, гм... еврей. Они еврея не тронут.

Гудела машина канонерки, и пушки, подгоняя, били из-за перевала.

— Пустите меня! — сказала Варенька и бросилась к борту. Расталкивая поднимающихся по трапу матросов охранения, она видела на берегу все тех же молчаливых людей и, за ними, спину Бориса Веселовского: Боря, горбясь, медленно брел к выходу из порта.

— Она что-нибудь забыла, ваша племянница? — подойдя к Залуцкому, учтиво справился капитан. — Я не могу ждать, мы уходим.

— Испорченное дитя! — горестно вздохнул Залуцкий. — Ее отец был немного того...

— Иванушка-дурачок? — с трудом выговаривая русские слова, спросил капитан.

— Вот-вот! — оживился Залуцкий. — Как говорится, какая б ни порода, а в семье не без урода.

И, глядя вслед бегущей за Борисом Вареньке, они оба засмеялись: один — разочарованно, а другой сочувственно.

А на берегу перед Варенькой молча расступались, давая ей дорогу, и тоже глядели ей вслед — одни удивленно, другие почтительно. Снизу, от воды, да и с палубы тоже, хорошо было видно, как она догнала Бориса Веселовского, поравнялась с ним и остановила его. И как они долго, стоя рядом, глядели на медленно отваливающую от причала канонерку.

18. ЗА ДНЕСТРОМ

За последнюю неделю конвойная сотня потеряла более половины личного состава — осталось четыре десятка сабель, да пятеро приближенных к Махно людей следовало за ним вот до этого леса. Теперь лес кончился, в просветах между зарослями видна была река в песчаных берегах.

— Днестр, Нестор Иванович! — наклонившись к Махно, сказал Задов.

Махно лежал в пулеметной тачанке, глядел в небо. Шея его была высоко перевязана кровавым бинтом: четыре дня назад, под Бобринцом, в случайной стычке с одним из полков 7-й красноармейской кавдивизии пуля вошла ему ниже затылка и, выходя, вынесла часть правой щеки. И шесть легких ранений при переправе через Днепр между Орликом и Кременчугом, две недели назад. И ранение в слепую кишку через бедро, четырехмесячной давности, еще не залеченное. Тогда Задов спас его, перенес на руках в крестьянские дроги, неизвестно откуда, посреди боя, добытые.

— Подыми меня, Лева, — попросил Махно, — я погляжу.

Задов с Семеном Веселовским осторожно приподняли Махно с двух сторон и держали. Махно смотрел за реку — там, недалеко, отлого выползал из серой быстрой воды румынский берег.

— Что будем делать, Нестор Иванович? — спросил Задов.
— У нас Буденный на хвосте сидит.

— Это мы у него на носу сидим, Лева, — болезненно улыбнулся Махно. — У нас и хвоста нет, одни глаза остались. — Он натужно обвел подбородком остатки своей сотни.

— Может, на юг? — спросил Задов. — Через плавни?

— Посадите меня в седло! — приказал Махно.

Подвели коня — гнедого иноходца с высокой холкой, с длинными сильными ногами. Задов с Семеном Веселовским подняли Махно под руки и с тачанки посадили его в седло.

— Где Кожин? — оглядевшись, спросил Махно.

Подъехал Фома Кожин, за ним Иван Лепетченко. Махно глядел зорко.

— Чернокнижный где?

— Вон идет, — сказал Кожин.

— А Платонов?

— Убит вчера, — сказал Кожин.

— Я ухажу, — сказал Махно, дождавшись, когда Чернокнижный подошел поближе. — Кто со мной — пошли.

— Не вернемся, батько? — спросил Лепетченко. — Навсегда?

— Навсегда смерть бывает, Иван, — сказал Махно, — ты и сам знаешь. Вернемся? Оттуда уж не возвращаются... — Он тяжело, всем корпусом повернулся в седле и долго глядел на близкий заграничный берег. Потом тронул коня и стал спускаться к воде. Фома Кожин подъехал к нему тесно, колено к колену, с левой стороны, а Задов справа, и так они вошли в реку.

Лошадь под Семеном Веселовским фыркала, пятилась от воды. Чернокнижный молча отобрал у него повод и повел за собой. Вода была быстрая, холодная.

А Лепетченко Иван, свистнув сорока всадникам, державшимся поодаль, повел их в реку галопом, как вел третьего дня в атаку на красную пулеметную команду в селе Николаевка.

Неприметное у берега, в середине реки течение потащило лошадей. Задов с Кожиним, бросив поводья, обняли Махно за плечи и так, строенно, переправлялись. Отфыркиваясь и отряхиваясь, лошади наконец вынесли людей на тот берег.

— Земля как земля, — озираясь, сказал Фома Кожин. — Как наша.

Махно не улыбнулся шутке. Понукая коня, он поднялся повыше на берег и остановился на солнечной поляне, перед невысоким леском.

— Мы за границей, — сказал Махно подъехавшим к нему. — Здесь ни белых, ни красных — но меня и тут будут гнать и ловить, как там. Поэтому приказываю: всем расходиться по одному! Кожин!

— Я с тобой, батько Махно!

— Лепетченко!

— С тобой, батько!

— Чернокнижный!

— С тобой...

— Задов!

— Я возвращаюсь. Я там нор понарыл — никакой пес меня не возьмет. Там хочю доживать... Прощай, батько!

Сказал — и исчез, как будто ветром сдуло Льва Задова с солнечной поляны: вроде к лесу повернул, а то и спустился к реке.

— Семен! Веселовский!

— С вами, Нестор Иванович.

— Подойди-ка поближе, Семен, — сказал Махно. — Слушай меня. Коммуну нашу сожгли, теперь никто ее не поставит; и людей оттуда никого не осталось, один ты. Я тебе приказывать не могу, но ты слушай, слушай! Есть еще одна такая коммуна на свете, мне Иосиф Эмигрант говорил, и Коган, а Алып Яков в газете про нее читал статью и мне показывал. Коммуна Дегания, в Палестине, на каком-то она озере стоит. Там и русские, евреи, то есть, наши живут. Я давно тебя туда хотел послать посмотреть, да вот не успел... Поезжай туда, Семен, доберись как-нибудь! Там тебе место, а не в тюрьме со мной сидеть у румын. Здесь ты наш, и там будешь наш. Поезжай!

— Я поеду, — сказал Семен. — Доберусь.

— Ну, вот, — сказал Махно. — Я бы обнял тебя, да не могу сам нагнуться, а Задов ушел... Прощай, Семен!

Взмахнув нагайкой, Махно шагом поехал вдоль опушки. Конвой, разобрав поводья, тронулся за ним. Семен видел, как Чернокнижный, отъехав, помахал ему с седла рукой. А потом полоса поляны ушла влево, и всадники повернули коней и пропали за деревьями леса.

Нестор Махно умер сорока пяти лет, в эмиграции, в Париже, в 1934 году.

Семен Веселовский пережил его на четверть века и умер в 1959 году в кибуце Дгания-Алеф, в Израиле. Его дети и внуки рассказывают, что их отец и дед был интересным человеком.

1986-1988

עיריית חיפה ⁶⁰⁴¹² מחלקת הח"ד
כאנף לתרבות השכלה ואמנות
המח' לספריות, הספרייה בקריית שפריןצק
מס' _____



ИЗДАТЕЛЬСТВО “ЛИБЕРТИ”

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ЛИБЕРТИ”

Политические детективы

Том Кленси. Охота за „Красным Октябрем”; 540 с.— цена 20 дол.	
Том Кленси. Игры патриотов; 450 с.; (ноябрь) —	15.00
Дэннис Джонс. Зимний дворец; 360 с. —	15.95
Эдуард Гополь. Чужое лицо; 390 с. —	14.95

Книги о зарубежной разведке

Джордж Джонас. Месть; 380 с., 10 фото —	24.00
Дэнис Айзенберг и др. Операция „Уран”; 246 с. —	13.00
Стюарт Стивен. Асы шпионажа; 452 с., 17 фото —	16.95
Рэй Клайн. ЦРУ от Рузвельта до Рейгана; 410 с., 16 фото —	15.95

Воспоминания перебежчиков

Светлана Аллилуева. Далекая музыка; 296 с., 30 фото —	14.95
Леопольд Тр впер. Большая игра. Жизнь разведчика; 380 с., 20 фото —	18.95
Аркадий Шевченко. Разрыв с Москвой; 528 с., 5 фото —	19.00
Александра Коста. Странник с одинокой звезды; 310 с. —	20.00
Станислав Левченко. Против течения. Десять лет в КГБ; 260 с. —	14.95

Историко-политическая серия

Александр Янов. „Русская идея” и 2000-й год; 400 с. —	16.95
Александр Зиновьев. Горбачевизм; 165 с. —	12.95
Джордж Буш. Автобиография; 284 с. —	12.00
Збигнев Бжезинский. Большой провал. Рождение и смерть марксизма в XX веке. (СССР, Китай, Польша и др.); 300 с. (октябрь) —	15.00
Джон Мюллер. Психология современной войны; 340 с. (ноябрь) —	15.00

Виктор Суворов. „Ледокол”. Гитлер в политических планах Сталина; 320 с. (ноябрь) —	15.00
Лев Троцкий. Преступления Сталина; 400 с. (январь 1990 г.) —	15.00

Книги русских писателей за рубежом

Василий Аксенов. В поисках грустного беби; 344 с. —	16.00
Юлия Вознесенская. Звезда „Чернобыль”; 210 с. —	15.00
Давид Шраер-Петров. Друзья и тени; 280 с. —	17.95
Владимир Соловьев. Операция „Мавзолей”. Роман из недалекого будущего; 180 с. —	12.00
Давид Маркиш. Полюшко-поле; 260 с. (декабрь) —	13.00
Александр и Лев Шаргородские. Печальный пересмешник; 223 с. (январь 1990 г.) —	13.00
Григорий Померанц. Открытость бездне. Этюды о Ф.М.Достоевском; 470 с. —	17.95
Современники о Мандельштаме (сост., комментарий Вадима Крейда); 300 с. (февраль 1990 г.) —	15.00
Лери. Онегин наших дней. Роман в стихах; 160 с. —	10.95
Юрий Дружников. Ангелы на кончике иглы; 540 с. —	14.95
Борис Хазанов. Миф Россия; 182 с. —	15.00
Я Воскресение и Жизнь (роман и две повести; 352 с., изд-во „Время и мы”, Нью-Йорк) —	16.00
Обе книги Б.Хазанова продаются за —	20.00

Американская классика

Генри Миллер. Тропик Рака; 310 с. в твердом переплете —	15.95
Курт Воннегут. Праматерь-ночь; 180 с. (ноябрь) —	13.95

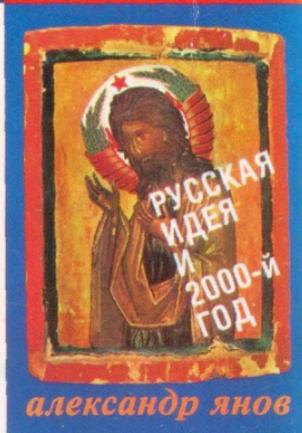
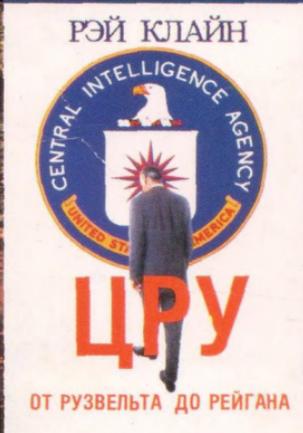
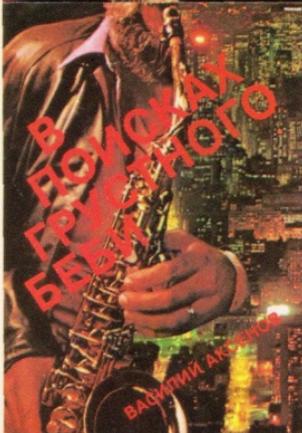
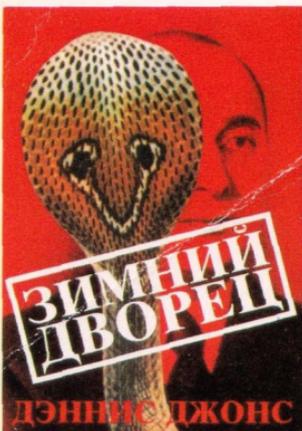
К сумме заказа необходимо добавить 1 дол. за пересылку первой книги и по 50 центов за каждую последующую.

Для жителей Канады: 1.50 — за первую книгу и по 75 центов за каждую последующую.

Адрес издательства „ЛИБЕРТИ”



LIBERTY PUBLISHING HOUSE
475 FIFTH AVE, SUITE 511
NEW YORK, NY 10017-6220
Tel. (212) 213-2126



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЛИБЕРТИ“
ЛУЧШИЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
LIBERTY PUBLISHING HOUSE



475 Fifth Avenue,
New York, NY 10017-0220
Tel. (212) 213-2126